

применялась "органами" и в отношении диссидентов. Основная символически значимая акция, определяющая характер всего долгого периода, — подавление "пражской весны" 1968 г. и диссидентского движения в стране.

Перестройка и позже: поиски собственной символики. Короткая эпоха горбачевской перестройки непрерывно меняла Собственное символическое "лицо": от "ускорения" и "трезвости" к отработанным лозунгам "революционной романтики" ("перестройка — продолжение Октябрьской революции", главный юбилейный слоган 1987 г., в унисон с ним новое дыхание антисталинских обличений), затем к "социализму с человеческим лицом" и далее — к "общеевропейскому дому" и "общечеловеческим ценностям". Последовательность этих символов скорее логическая, чем историческая, реально они почти сосуществовали друг с другом. Успешные при всех возможных оговорках, символические события эпохи — гласность, Первый съезд депутатов, падение берлинской стены. Символы поражений — кровавые акции 1989-1991 гг. от Тбилиси до Риги, провал путча и конец Союза ССР. Персонализированный символ эпохи — сам М.Горбачев, вознесенный на пьедестал массовых надежд в 1988-1989 гг. и сброшенный оттуда в 1990-1991 гг.

После освобождения от обязательного контроля прессы, литературы, искусства уже, видимо, нельзя связывать с политическим периодом какой-то определенный стиль. В перестроечные годы доминирует критика прошлого при несколько наивных ожиданиях от настоящего. Позже предметом критики с разных направлений становится "все" при все более благостных оценках старой, дореволюционной и допетровской России.

Символические "метки" правления Б.Ельцина — сочетание признаков демократии и державности, популистских обещаний и военно-политических авантур (Чечня...). Официальная символика (орлы, дворцы, церемониалы, церковные благословения и пр.) скорее псевдомонархическая, чем демократическая. Лозунги "обновления социализма" отвергнуты, вместо них — объявленный официально поиск "национальной идеи", который ничего не дал. Массовый же поиск (данные ряда опросов общественного мнения) постоянно выдвигал на первые места "законность и порядок" (реальный акцент, конечно, на первом слове) и "стабильность".

Новый политический период, начатый в конце 1999 г. и все еще не определившийся до конца, ищет уже не национальную идею, а государственные символы. (Что само является символом державности.) Наиболее шумной и поучительной оказалась, понятно, борьба вокруг музыки государственного гимна, точнее, вокруг предложения принять в таком качестве музыку А.Александрова, известную еще по "гимну партии большевиков" (1939 г.), гимну Советского Союза (1943 г., исполнявшемуся без слов после 1956 г., с новыми словами с 1977 г.), позже служившую мелодией гимна народно-патриотических сил, а также гимном российско-белорусского союза. Именно этот "ретроспективный" исторический контекст браваурной музыки сделал ее предметом острой критики со стороны демократов, видных интеллигентов и др.*, которые восприняли возвращение старого гимна как символический шаг к реабилитации тоталитарного режима. Драматические коллизии завершились полным и весьма поучительным поражением противников старо-новой мелодии, а точнее, поражением всей интеллигентской демократии в борьбе с властью предрержащими. Авторитет президента, циничный нажим аппаратных "технологов", покорность парламента, массовая апатия, восторженная поддержка реставраторов старого порядка сделали свое дело. Тем самым был отработан ме-

ханизм для следующего символически значимого шага — разгрома НТВ и ряда прочих "непослушных" СМИ. Действие разворачивалось примерно по тому же сценарию, правда, с помощью судебных механизмов, при неудачных попытках сопротивления со стороны тех же сил и при таком же всеобщем безразличии.

В годы президентства Б.Ельцина символической (квазиидеологической) осью режима было искусственно, иногда даже провокационно раздутое противостояние власти и поддерживавших ее демократов компартии. Прежде всего это был не конфликт идеологий или политических линий, а оппозиция символов прошлого и настоящего. Особую роль внутри этого символического конфликта играл незатухающий скандал вокруг мавзолея (в какой-то момент чуть не ставший предлогом для развязывания гражданской войны).

Хаотическим годам перемен новое правление (В.Путина) прежде всего попыталось (или было вынуждено) противопоставить лозунги "порядка", а тем самым — новую символическую ось "порядок—хаос". Символ привился, хотя порядка мало прибавилось. В последнее время на первый план как будто выдвинулась другая ось, "Россия—мир", по существу, — вопрос о символе перспективы страны. Если противостояние "власть—компартия" означало соотнесение символов настоящего и прошлого, то ось "Россия—мир" символизирует соотнесение настоящего с вариантами будущего. Волею обстоятельств, особенно после сентября 2001 г., власть (президент) оказалась перед необходимостью декларировать выбор "западного" варианта и перехода от конфронтации к новому союзу с США. Это далеко не поворот, пока — символ, который может либо стать знаком длительного и трудного поворота, либо остаться вынужденной декларацией.

Лев ГУДКОВ

"Тоталитаризм" как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия (окончание*)

Дальнейшая траектория теории тоталитаризма была похожа на судьбу каждой удачной теории в социальных науках: она была принята не только сообществом узких специалистов из сферы социально-политических дисциплин, но и исследователями в других областях, а затем вышла за рамки собственно науки — в публицистику, систему образования, стала элементом самосознания и культуры современных политических элит в демократических обществах. Как это всегда бывает при переходах от одной группы к другой, у концепции тоталитаризма менялись не только характер и контексты ее функционального использования, но и структура составляющих ее значений, интенциональные адресаты, а следовательно, и ее теоретический статус. Если первоначально это была предметная модель, синтезирующая социальные наблюдения и описания социальных институтов и массовых движений, то затем она стала эвристической или идеально-типической схемой интерпретации, направляющей внимание исследователей на определенный материал и задающей порядок его отбора, упорядочения. Далее концепция могла выступать в качестве теории, предоставляющей причинное или функциональное объяснение социально-исторического материала,

* Начало статьи см.: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2001. № 5. С. 20-29.

* За Глинку! Сб. статей / Под ред. М.О.Чудаковой. М., 2000.

непосредственно не связанного с властно-политическими отношениями. Иначе говоря, теория тоталитаризма могла в различных контекстах использоваться то в качестве языка описания, то в качестве языка объяснения или интерпретации.

Естественно, что каждый подобный проблемный разворот темы у конкретного автора мог быть обусловлен не только логикой анализа, но и его ценностной позицией или идеологическими интересами, т.е. "внешними" для самого предмета изучения обстоятельствами, но значимыми для общественного контекста дискуссии о тоталитаризме*. Понятно, что логическая структура концепции при анализе последствий тоталитарных режимов (их влияние на общество) или их генезиса при описании синдромов тоталитаризма в определенных обществах или их отдельных институтов неизбежно будет разной. Необходимость учитывать эти разные планы научным сообществом воспринималась с большим трудом даже корректно работающими исследователями и аналитиками, с вниманием относящимися к подобным логико-методологическим нюансам, но совершенно не осознававшаяся более широкой публикой и публицистами. В большей степени методическая саморефлексия была свойственна работам позитивистски ориентированных авторов, в Меньшей — тех интерпретаторов, которые следовали за Х.Арендт, не ставившей перед собой цели довести свои размышления до той формы, которая соответствовала бы требованиям эмпирической, "строгой науки". Еще меньше — сочинениям последователей франкфуртской школы.

У этих последних, особенно после работ Т.Адорно и его единомышленников (по выходу "Авторитарной личности", "Диалектики просвещения" и других), ключевые понятия концепции тоталитаризма получили крайне расширительное, оценочное значение, поскольку применялись метафорически или риторически, по существу, уже в ненаучных целях и контекстах. Это было вызвано и внутренними философско-практическими задачами франкфуртской школы (способствование общественной эмансипации от господства и эксплуатации через критическую и рациональную работу сознания), и особенностями самой методологии рабочей группы Т.Адорно и сотрудников, соединявших чисто позитивистские техники получения эмпирического материала (массовые социально-психологические опросы и тесты) с отвлеченной и спекулятивной марксистско-психоаналитической манерой его интерпретации.

Наибольший интерес в данном случае для нас представляет цикл исследований, объединенных под общим названием "Авторитарная личность"**, выполненных в 1945-1946 гг. На основе ряда тестов, построенных как шкалы согласия или несогласия респондентов с предложенными экспериментаторами оценочными суждениями, исследователи диагностировали наличие антидемократических и фашизоидных комплексов и синдромов у опрашиваемых, их сочетание и конфигурации, которые они затем интерпретировали как предрасположенность к авторитаризму. Сама категория "авторитаризм" практически не подлежала рационализации и идентифицировалась с фашизмом или тоталитаризмом. В тексте книги "Авторитарная личность" подобная интерпретация практически отсутствует, видимо, для того времени она представ-

* Длительное сопротивление советских историков самой возможности аналитического сравнения репрессивных режимов тоталитарного типа, например, сталинского и нацистского, было вполне понятно в советские времена, но сегодня едва ли стоит всерьез принимать их аргументы и заверения о доказанной несостоятельности концепции тоталитаризма.

** Адорно Т., Сэнфорд Н., Френкель-Брюнсуик Э., Левинсон Д.Л. Исследование авторитарной личности. М.: Академия исследований культуры, 2001.

лялась самоочевидной и не требующей специальных разъяснений. Основная исследовательская посылка формулировалась следующим образом: «Для того чтобы быть успешным политическим движением, фашизму необходима опора в массах. Он должен обеспечить себе в массах не только боязливое подчинение, но также и активное сотрудничество со стороны значительного большинства народа... Аргумент о том, что фашистская пропаганда обманывает людей, обещая им изменить их судьбу к лучшему, влечет за собой вопрос: "А почему, собственно, люди так легко позволяют себя обманывать?" По-видимому, потому, что это соответствует их структуре характера, потому, что несбывшиеся желания и ожидания, страхи и беспокойства делают людей восприимчивыми по отношению к одним и резистентными по отношению к другим убеждениям. И чем больше уже имеющийся в народных массах антидемократический потенциал, тем легче задача фашистской пропаганды. Чтобы определить перспективы победы фашизма в США, очевидно, необходимо учитывать соответствующий потенциал в характере людей. В нем не только причины подверженности людей антидемократической пропаганде, но и наиболее надежный источник сопротивления»*.

Наличие авторитарно-фашистского синдрома диагностировалось с помощью нескольких переменных, набор и состав которых менялся и уточнялся с течением времени, но суть оставалась той же: *конвенционализм* (непоколебимая приверженность к ценностям среднего сословия; *авторитарное раболепие*; *авторитарная агрессия* (против людей, не разделяющих конвенциональные ценности); *неприятие всего субъективного*, фантастического, чувствительного; *суеверность* и *стереотипизм* (вера в мистическое предначертание собственной судьбы, предрасположенность к мышлению в жестких категориях); *силовое мышление и культ силы*; *деструктивность и цинизм* (диффузная враждебность); *проективность* (готовность верить в мрачные и опасные процессы, происходящие в мире, проекция неосознанных и инстинктивных импульсов на внешний мир); *сексуальность*, чрезмерный интерес к сексуальным происшествиям**.

Сочетание количественных техник массовых измерений и качественных методов позволило группе Т.Адорно говорить о массовом распространении авторитарного синдрома в американском обществе (так или иначе он мог диагностироваться у примерно 60% населения). Дело даже не в собственно методической корректности и строгости проведенных замеров. Возможно, сегодня они не соответствовали бы строгим критериям надежности и достоверности полученных результатов, особенно учитывая характер выборки и синтетических интерпретаций, наборов комплексов. Однако проблема заключается не столько в технической корректности, сколько в самой интерпретации и распространении ее на весь массив исследуемых, тем более на все население. Речь идет о том, что Т.Адорно меняет модальность заключений: из "возможности" или "предрасположенности" он делает вывод об "обязательности" и "непременности", "необходимости". Вполне правомерные и эмпирически обоснованные тезисы о связи раболепия, некритичности мышления, ксенофобии (прежде всего антисемитизма и расизма), чрезмерной потребности в подчинении (включая и связку "дети—родители"), о нормативном ограничении тех или иных социальных ролей и т.п., сочетаются у него с совершенно необоснованным связыванием их с фашизмом (тоталитаризмом). "Там, где держаться конвенционалистских норм понуждает давление общества, там конвенционализм зиждется на упорной привязанности индивида к

* См.: Адорно Т. и др. Указ. соч. С. 25.

** Там же. С. 52.

нормам коллективной власти, с которой он идентифицирует себя в данный момент, — там мы имеем дело с антидемократической восприимчивостью... Конвенционалистский индивид способен с чистой совестью подчиниться диктату внешних сил и последовать за ними, куда бы они его ни повели, и будет в состоянии заменить свой моральный кодекс совсем другим, подобно новообращенному, перешедшему от официального коммунизма к католицизму^{*}. "Подчинение авторитету, желание иметь сильного вождя и принадлежать к государству и т.д. часто, и как нам кажется, по праву рассматриваются как важнейшие аспекты национал-социалистического кредо..."^{**} и т.п. Априорно и эвристически выделяемые и формулируемые черты "тоталитарного синдрома" иллюстрируются выдержками из собранных интервью, которые, однако, далеко не всегда поддаются однозначной интерпретации. Но им вменяется определенный диагноз, который, в свою очередь, служит в качестве подкрепления или подтверждения весьма умозрительных и общих построений авторов. Сомнение вызывают не сами наблюдаемые тенденции или описываемые комплексы массового сознания, а их генерализация и распространение на материал совершенно иного рода — политический, институциональный, на историю идей и пр. Цепочка рассуждений здесь следующая: фиксируется набор признаков, он генерализуется в психологический тип, лишенный каких-либо социально-групповых или институциональных признаков, т.е. ему придается статус универсалий, благодаря чему в ходе следующих итераций рассуждения он уже становится аргументом, объясняющим ту или иную институциональную структуру. Поэтому и оказывается возможным (правда, в более поздних работах франкфуртцев) трактовать технику и рациональность как формы буржуазного господства, видеть проявления тоталитаризма в формах нынешней американской демократии и пр. Универсально-критический запал неомарксистов оказывается более важным, нежели задачи корректности и ясности теоретических построений. Главный же дефект подобных интерпретаций заключается в элиминации двух ключевых методологических моментов, выступающих и как ресурсы объяснения, и как условия его контроля: *идеи культуры* (ценностей, норм, традиционных императивов, определяющих смысловое поведение индивидов и их социальные взаимосвязи) и *институционального анализа*, указания на роль институтов, устанавливающих рамки допустимого и согласованного поведения. Без этого звучащий столь вызывающе и провокационно вывод о том, что значительное число, если не большинство, американцев являются носителями авторитарного синдрома, авторитарными личностями, потенциальными фашистами, выглядит сегодня, учитывая историческую перспективу, довольно нелепо. Именно институциональная система, демократия, сдерживает и контролирует индивидуальную агрессию, ксенофобию и прочие авторитарные склонности массы. Это, а не "характер", объясняет то обстоятельство, почему, например, в Великобритании не развился фашизм, хотя там действовали и фашизоидные и коммунистические партии, а авторитарного "субстрата" и до войны, и после, особенно среди молодежи, было предостаточно. Без этого объяснения соотнесения разных теоретических планов и ресурсов сама идея авторитарности теряет свой смысл и границы, превращаясь в нечто неопределенное. "Авторитарность" в таких случаях становится предикатом тех явлений, которые подлежат критическому разоблачению^{***}.

* См.: Адорно Т. и др. Указ. соч. С. 54.

** Там же. С. 55.

*** Критику В.Заславского расширительных трактовок авторитарно-тоталитарного синдрома в новейших социально-филологических подходах см.: Zaslavsky V. The Katyn Massacre: "Class Cleansing" as Totalitarian Praxis // Telos. 1999. Winter. N 114. P. 67-107, особенно § The Concept of Totalitarianism and its Critics. P. 98+107.

Стремясь вернуть работу Т.Адорно в исследовательский контекст, редактор русского издания В.П.Култыгин в своем предисловии к книге резко меняет трактовку авторитаризма. Он так раскрывает это понятие: "В понятие авторитаризма Адорно вкладывал политический монополизм, существование в стране единственной или господствующей партии, отсутствие оппозиции, ограничение или же подавление политических свобод в обществе. Ведущим типом личности в таком обществе является авторитарная личность с присущей ей чертами: социальным консерватизмом; потребностью в иерархии и уважении силы; с ригидностью, негибкостью установок; стереотипным стилем мышления; с более или менее стадной враждебностью и агрессивностью, иногда вплоть до садизма; с тревожностью по отношению к другим и невозможностью устанавливать с ними доверительные отношения"^{*}. Нетрудно увидеть в этом перечислении, заметно модернизирующем постановку проблемы, парафраз основных признаков системного "тоталитарного синдрома", описанного К.Й.Фридрихом и З.Бжезинским несколько лет спустя после исследований Т.Адорно, вообще-то говоря, не имеющего отношения к "характерам", психологии или психоаналитическим интерпретациям. Против подобного соединения двух концепций едва ли можно и стоило бы возражать, но даже в этом случае остается одна существенная неясность, вызванная особенностью работы Т.Адорно. С чем в таком случае мы имеем дело: с авторитарно-тоталитарным комплексом склонностей и проявлений, получающим в конкретных американских условиях относительно "случайное" содержательное наполнение (склонность к повинновению, антисемитизм, культ силы и пр.) или же с феноменами нормативно-институционального сознания, необходимым общественным конформизмом, коллективными представлениями, хорошо известными в социологии, иногда даже с рудиментами традиционного сознания, которые Т.Адорно, неправомечно, лишь по аналогии с опытом нацистской Германии, принимает за авторитарно-тоталитарный комплекс? Придерживаясь чисто психологического подхода и понимания проблемы, нам на этот вопрос ответить не удастся. Снять психологическую всеобщность и абстрактность можно, лишь вернув анализ в конкретный материал социального взаимодействия, исторический и социальный контексты, только в этих условиях становится ясным характер значимости и содержание ценностных императивов, а не просто их "конвенционализм". Иначе говоря, необходимо определить тип и структуру актуального социального действия, а не просто "тип установок". Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в современных обществах при всех их различиях существуют разные в генетическом плане пласты культуры, а соответственно, и механизмы социальной конституции, включающие нормы и ценности разной степени жесткости и императивности, от архаически-трибалистских до самых релятивистских. Для нашей проблематики важно не то, что они есть или их нет, а то, как они конфигурируются и проявляются в поведении. Сам факт наличия тех или иных установок респондента еще ничего не говорит о том, как они реализуются и каковы их функции (идет ли речь об инструментальном поведении или о национальной самоидентификации и т.п.). Поэтому дело не в психологизме как подходе, а в том, с чем, с какими объяснительными рамками или схемами интерпретации соединяются предметные психологические теории и методы. Или в более общем плане — может ли теория тоталитаризма синтезировать в своих рамках (системах координат) материал теорий и концепций,

* Култыгин В.П. Теодор Адорно и его концепция авторитарной личности // Адорно Т. и др. Указ. соч. С. 5.

разрабатываемых исследователями смежных областей и дисциплин? Насколько значителен ее генерационный потенциал? Ответить на эти вопросы в 50-60-е годы было довольно трудно, поскольку критики не столько стремились рассматривать теорию в качестве общей задачи, сколько указать на ее несостоятельность, внутреннюю разнородность и непроясненность. Рассмотрим это несколько подробнее.

Критика концепции К.Й.Фридриха и З.Бжезинского (по времени приходящаяся на конец 60-х — начало 70-х годов) указывала на то, что их схема тоталитарного государства соединяет в себе описание общества и средств господства. Так, Л.Шапино (в работе 1972 г.) утверждал, что в модели двух авторов смешиваются два обстоятельства — типичные черты тоталитарного общества ("контуры", как он их называл) и технология осуществления господства. Таких контуров, т.е. социокультурных форм общества, он насчитывал пять: 1) наличие вождя; 2) подчинение ему законного порядка в государстве; 3) государственный контроль за личной моралью граждан; 4) постоянная мобилизация граждан на выполнение государственных задач; 5) легитимность режима исключительно на основе массовой поддержки.

Эти упреки для данной фазы исследований не слишком основательны, поскольку в принципе, как мне представляется, для авторов "тоталитарного синдрома" в середине 50-х годов не стояла проблема анализа культуры (своеобразия традиций, истории, самосознания, ценностей элиты и массы, духа религии) тех обществ, в которых возникли тоталитарные режимы. Подобные задачи для социальных наук возникнут позже, примерно через 10–15 лет, когда в значительной степени именно благодаря уже накопленным теоретическим и эмпирическим разработкам тоталитаризма, станут возможными различные версии процессов модернизации, а следовательно, проявятся общие условия возникновения тоталитарных движений в странах запоздавшей модернизации, т.е. сам тоталитаризм будет рассматриваться как противоречивый феномен догоняющей или форсированной модернизации*.

Отметим, что трактовка фашизма как своеобразной капиталистической диктатуры, иногда как диктатуры крупного монополистического капитала, служащей для быстрой индустриализации отсталых или запаздывающих стран, была не просто довольно распространенной среди марксистов, в частности об этом писал и Ф.Боркенау, но временами даже становилась чем-то вроде официальной точки зрения Коминтерна на проблему. Поэтому у марксистов того времени дело описания и критики тоталитарных режимов, естественно, ограничивалось лишь практикой фашизма в Европе, чаще итальянского**, не касаясь советской системы. (Может быть, единственным исключением из этого ряда были работы Л.Троцкого о Сталине и сталинизме, написанные им после высылки из СССР.) К.Й.Фридрих и З.Бжезинский выстроили идеально-типическую модель, у них речь не шла о "реальной" типологической конструкции, как это было у историков нацизма,

* См.: *Apter D.E. The Politics of Modernization. Chicago, 1963; Black C.A. The Dynamics of Modernization. N.Y., 1966.*

** Как ядовито замечал Й.Экхардт, "марксизм-ленинизм всегда негативно и вместе с тем в высшей степени беспомощно реагировал на теорию тоталитаризма". Не будучи в состоянии убедительно аргументировать и критически разобрать содержательные доводы этой концепции, его апологеты ограничивались "указанием на классовые функции теории тоталитаризма". *Eckhardt J. Totalitarismusforschung im Streit der Meinungen // Totalitarismus im XX. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, 1996. S. 19.* Видимо, инерция истории партии у бывших советских историков сохраняется и сегодня.

например, у Х.Моммзена или В.Виппермана*, бравших за основу конструкции конкретные исторические образцы (один — вариант гитлеровского режима, другой — итальянского фашизма). Методологический смысл конструкции тоталитаризма заключался в определении того *минимума институциональных взаимодействий и связей*, при наличии которых эта система устойчиво воспроизводилась независимо от того, каковы были исходные традиционнокультурные предпосылки, состояние элит, развитость правовых учреждений и пр.

Вместе с тем некоторые изменения ситуации в тоталитарных странах к этому времени (прекращение большого террора, появление первых инакомыслящих и самиздата и др.) повлияли на смещение акцентов в трактовках тоталитаризма. Прежде всего происходит разделение тематики — после краха гитлеровской Германии и поражения Муссолини в качестве тоталитарных режимов рассматриваются практически только страны коммунистического лагеря. Доклад Н.Хрущева на XX съезде о сталинских репрессиях и культе личности И.Сталина символически отмечает конец большого террора, хотя сами репрессии утратили свой массовый характер еще раньше. Восстания в Берлине и в Венгрии, позже — неоднократные волнения рабочих в Польше, наконец Пражская весна 1968 г., появление диссидентов и правозащитников, национальных движений заставили исследователей перенести фокус внимания с террора на источники и механизмы стабилизации и поддержки режимов, на их последствия в различных сферах общественной жизни (социальные, экономические, культурные, моральные и пр.), а также на возможности трансформации этих режимов.

Этому способствовал усиливающийся поток сочинений из закрытых обществ. Конечно, литературная эссеистика, мемуары, исторические работы или публицистические сочинения не отражались напрямую на теоретических разработках по интересующей нас теме, но они всегда принимались ими во внимание. Диапазон этих публикаций и жанровое разнообразие все время увеличивались начиная, вероятно, с 1956 г., с появления работы М.Джиласа "Новый класс". Здесь можно лишь перечислить труды Л.Колаковского, М.Геллера, А.Амальрика, А.Солженицына, Ч.Милоша и множество других.

В поле внимания исследователей, конечно, находилась не столько сама взаимосвязь различных институтов, образующих тоталитарную систему, сколько отдельные ее подсистемы, а среди них — механизмы террора и идеология. Столь значительный акцент на роли идеологии в тоталитарных режимах был вызван не просто незнанием фактических обстоятельств жизни в этих странах или еще более понятным недоразумением: характерной для интеллектуалов аберрацией — принятием письменной культуры за действительность массового существования. И то и другое вполне объяснимо. Из-за ограниченности надежных источников исследователи тоталитаризма, советологи были вынуждены опираться главным образом на официальную литературу, т.е. принимать лозунги за описание самих вещей. Такой подход свойствен и для самых замечательных авторов, вроде Х.Арендт. Такое оптическое смещение означало не просто замещение, принятие части за целое, но и сдвиг событий по временной шкале: перенос значений и явлений, характерных для более ранних фаз (становления режима, открытой мобильности для некоторых групп, соответственно, энтузиазма и чувства

* *Випперман В. Европейский фашизм в сравнении, 1922-1982. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. С. 193; Mommsen H. The Concept of Totalitarian Dictatorship Versus the Comparative Theory of Fascism. The Case of National Socialism // Totalitarianism Reconsidered / Ed. E.Menze. Port Washington, N.Y.: Kennikat Press, 1981.*

открывающихся перспектив, чем бы они не вызывались — вакансиями из-за террора или быстрым развитием общества), на позднейшее время консервации режима.

Однако, на мой взгляд, дело обстоит несколько сложнее и связано с методологическими обстоятельствами конструкции тоталитаризма. Для человека "современного" (открытого и достигательского, с выраженной позитивной гратификацией или с преобладанием ее), существующего в западном обществе (рынок, демократия, право, гражданское общество, четко определенные параметры государства и т.п.), сам факт возникновения и функционирования тоталитарной системы представляется достаточно иррациональным, особенно при характерном акценте на ведущую роль террора, который делали публицисты и политики. Для аналитиков террор и энтузиазм представляются двумя уравновешивающими силами, создающими условия относительно устойчивости этих режимов. Поэтому уже в конце 60-х годов идет интенсивный поиск объясняющих факторов воспроизводства этих систем. Незавершенность предметно-теоретического инструментария, имманентного самим задачам теории тоталитаризма, заставляет исследователей довольно часто находить их в аналогии тоталитарных идеологий с религиозными учениями, точнее, в обнаружении элементов псевдорелигиозности или суррогатной религиозности в коммунистической или нацистской идеологии и массовой общественной практике* (например, много внимания уделено наличию элементов Heilslehre, хилиастическим составляющим в идеологии в работах Е.Топича, К.Поппера, Р.Арона, Э.Фёгелина и многих других ученых, вплоть до настоящего времени)**.

Идеология в этих подходах служила концептуальным заместителем "культуры" (целостным и обозримым одномерным ресурсом объяснения), а сами интенции и усилия идеологов по контролю за массовым сознанием расценивались как безусловно реализуемые и эффективные. Иначе говоря, исследователи, разделявшие посылки теории тоталитаризма, были вынуждены принять на веру декларации и планы самих вождей или идеологов тоталитарных режимов. Отсюда идея о сверхсоциализированности, полной управляемости извне граждан тоталитарного государства, экстраординарное значение "обучения", "формирования сознания", благодаря которым массовизируется "учение о спасении". Даже в 90-е годы ряд исследователей повторяет, что "тоталитарные государства базируются не только на подчинении, но и на соблазнении, мобилизации, интеграции человека [в единое социальное целое]... Кто редуцирует тоталитарную систему только к террору и насилию, не может объяснить ту ностальгию, которая частично сопровождает конец этих систем"***. Ставятся задачи "необходимости полнее раскрывать и разрабатывать те элементы, которые затрагивают уровень (псевдо)религиозности", выявить определенный ценностный субстрат тоталитаризма, что-то вроде секулярной, суррогатной религии. (Материалом для этого могла быть только вторичная информация, например, эстетическая — фильмы, романы, или пропагандистская продукция тоталитаризма, а это значило, что на восприятие и понимание интерпретаторов влияли моменты тривиальной поэтики этого искусства и литературы и т.п.) Поэтому мифология единого народа, представления о монолите "партии—народа—государства" ока-

* *Vondung K. Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des Nationalsozialismus. Göttingen, 1971; Reichel P. Der schöne Schein des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des Faschismus. München, 1991.*

** См. сборник, подготовленный Х.Майером: "Totalitarismus" und "Politische Religionen": Konzepte des Diktaturvergleichs / Hrg. H.Maier. Paderborn etc. Schöningh, 1996. 224 s.; Aron R. Démocratie et totalitarisme. P., 1964.

*** *Eckhardt J. Totalitarismusforschung im Streit... S. 25.*

зывалась более важной, чем явные различия двух режимов, советского и нацистского. Структурное сходство идеологий, поддержанное гомоморфностью институциональной практики режимов, позволяло отодвинуть на второй план множественные, но в данном отношении второстепенные различия происхождения, культурных и политических традиций, разные идеологические основания (у нацистского — расовое превосходство и претензии по этим основаниям на господство немецкого народа, территориальная и политическая экспансия; у советской системы — первоначально идеологически-революционное, коммунистическое доминирование, позднее — великодержавная экспансия и противостояние Западу)*.

Постоянно предпринимались попытки расширить анализ и составляющие тоталитарной модели. Точки зрения интерпретаторов при этом разделились: одни стремились выявить то ценностное или мифологическое содержание, которое делало тоталитарные режимы столь притягательными для масс, понять идеологию как своего рода "эрзац-религию". Существенная часть критики теории тоталитаризма, последовавшая после венгерского восстания, кризисов в Польше, появления книги М.Джиласа, информации о самиздате и диссидентах (1956-1968 гг.) сводилась именно к сомнительности постулата идеологической монолитности тоталитарных обществ. Отсюда делались выводы о необходимости сильного ограничения тезиса монолитности лишь для слоя интеллигенции, связанной с режимом, т.е. интеллектуальной обслуги системы — СМИ, органы пропаганды и цензуры, редакторский корпус, кадры образования и воспитания, культура, право, управление и пр. Другие же авторы подчеркивали, что дело заключается не в психологических, аффективных суррогатах сопричастности к единому целому, энтузиазме и восторге ритуалов конформизма и слияния с "народом", вождем, государством, а в пресудительности частного, отдельного, индивидуального, особого, становящегося подозрительным и чужим для населения. Ослабление силы первоначального, революционного, мобилизационного подъема ведущих групп нового режима, идеологии "мессианизма" влекло за собой перенос акцента на идеологию уничижения, противостояния, обороны, а для исследователей — рост внимания к организации и практике репрессий, к институциональным формам террора (так появились описания системы "исправительно-трудовых"

* См., например, характерные сравнения, производимые И.Фетчером: «Обе тоталитарные идеологии являются результатом Первой мировой войны и вызванными ею дезориентацией, неуверенностью и тоской по "спасению". Обе идеологии предлагали мнимую определенность истолкования смысла истории... Советский марксизм претендовал на то, что он одновременно дает и научное истолкование прошлого и точно такой же по сути прогноз на будущее. Связь науки и этики придает этой идеологии необычайно сильную притягательность прежде всего для людей, оказавшихся без всяких ориентиров из-за утраты религиозных убеждений. Коммунизм обещает своим "верующим" научные воззрения и высокое моральное руководство. Он требует признания универсальной значимости и обязательности для своей идеологии. Фашизм, в отличие от него, партикуляристичен. Он стремится придать товарный вид вышедшему из моды национализму, соединяя его с расистской идеологией истории. Однако и он предлагает соответствующие ориентации и возможность морального выбора, конечно, едва ли претендующего на универсальность: "Ты — ничто, твой народ — все"... Большевик и фашизм, прежде всего, немецкий радикальный фашизм, как зеркала отражают друг друга. Они перенимают друг у друга методы осуществления господства, хотя их пути к власти принципиально отличаются» (*Fetscher I., Über F. Furet und das Ende der Illusion. Thesen und Anmerkungen // Demokratie im Ost und West. Für Klaus von Beyme / Hrg. von W.Merkel, A.Busch. Frankfurt a. M., 1999. S. 94-95.*

или гитлеровских лагерей смерти, анализ их социальных и экономических функций).

Такой ход и направление исследовательской работы был вполне логичен и обоснован общими задачами поиска consistency теории. Поэтому в соответствии с этой внутренней логикой по мере ослабления террора вставляла необходимость искать смысловые основания и механизмы организованного, принудительного консенсуса, систематически описанные В.Заславским*. М.Куртис, придавая особое значение тоталитарной идеологии, выделял в ней не столько мифологические составляющие, сколько ее социально-организующий потенциал, то, что ориентировало партию и подчиненную ей государственную бюрократию на создание нового социально-политического порядка и формирование, дрессуру нового же, соответствующего этому порядку человека. Эти идеологии предписывали подчинение всех личных, коллективных и общественных интересов государственным (партийным) приоритетам, обосновывали такую степень концентрации и централизации власти, при которых не только "оппозиция, но даже инакомыслие рассматривается как преступление"**. А это означало придание такого авторитета партийно-государственной иерархии, при которой снимались, устранялись какие-либо законные ограничения на действия тех, в чьих руках сосредоточена власть. Всеобщий контроль за жизнью и действием граждан, принудительные формы социальной организации и частного существования должны были быть приняты как благо, как превосходство нового социального строя, как "забота или внимание государства" к гражданам страны. «Тоталитарное государство управляет не просто посредством полиции, но с помощью интеллектуальной идеи. Тоталитарное правительство разрушает всю частную и общественную жизнь, преследует не только реальные действия, но и само намерение, заставляя огромное число граждан содействовать реализации его идей и "ценностей"»***. Во всех тоталитарных режимах приняты законы о государственной идеологии: в СССР — соответствующая статья Конституции, в Германии — закон о единой для всех граждан идеологии (*Gleichschaltungsgesetz*), в Италии — новый устав фашистской партии, принятый в 1938 г. и закрепивший за единственной в стране политической партией задачи защиты и развития фашистской революции, политического воспитания итальянцев и т.п.

Монопольный контроль за СМИ, институтами культуры и образования становятся условием функционирования мобилизационного общества. Все вместе это направлено на формирование такого сознания масс, в котором нет места альтернативам действия, нет места выбору, свободе, и это осознается как норма, как естественный, единственно возможный и привычный уклад жизни. Поэтому наряду с историческими работами о терроре (Р.Конквеста и др.) или по

анализу идеологии, политической борьбы разных клик и групп влияния (Р.Такера и др.) особое внимание стало уделяться факторам повседневной институциональной организации жизни в тоталитарных странах, анализу экономических процессов, уровню жизни, циркуляции элит, обстоятельствам культурной жизни и пр.

Характерные попытки выйти из этого круга взаимных обоснований продемонстрировал С.Мампель*. Он предложил различать постоянные и переменные элементы при интерпретации тоталитаризма. Первые связаны с институциональными структурами, отличающими тоталитаризм от авторитарных режимов, вторые — с конкретными социальными группами, носителями идеологии и культуры, занимающими разные позиции в социальной структуре, обладающими собственными представлениями, мотивами, интересами участия в формировании и поддержании тоталитарных институтов. Индивид в тоталитарных обществах должен не просто повиноваться, как в авторитарном государстве, а активно утверждать своим действием правильность всего, что предпринимают власти предрешающие, все выдвинутое ими цели. Деятельность институциональных структур направлена на контроль и подчинение себе ресурсов различных социальных групп. Реализация властных позиций не исчерпывается господством партийной клики над государством, а захватывает все пространство в обществе и положение отдельных членов в нем и определяет их в отношении государства. Поведение подданных в этих условиях — это не просто пассивное терпение при актах осуществления власти. Социальное давление, полагает Мампель, — феномен эмпирически недостаточно изученный, его роль в объяснении повседневности и лояльности индивидов в обществах этого типа чрезвычайно значительна. Значимо не применение насилия и репрессий, а лишь угроза применения террора**. Наблюдателю извне невозможно различать, идет ли речь об собственных убеждениях массового индивида или приспособлении к обстоятельствам давления. Но социальный эффект в обоих случаях примерно один и тот же, о чем свидетельствует упорядоченность не только повседневной жизни, но и специальные мероприятия власти, которые должны доказать всем участникам наличие согласия в мышлении. Для этого проводятся многочисленные марши, демонстрации, массовые митинги, сборы денег для разных целей и пр. В этом плане любое публичное проявление тоталитарной власти — это всегда показательные мероприятия власти. Общественный человек (матрица коллективной идентичности) понимается (в системе пропаганды, школьного обучения и т.п.) как нуждающийся во внешнем управлении или руководстве извне. Интересы руководства разного уровня отождествляются с интересами всего общества, всего целого. В противном случае индивид оказывается аутсайдером, в худшем случае — пособником врага, потатчиком, слепым орудием, направляемым врагом против страны и народа.

Переменными являются и само содержание "священного учения", и характер претензий на исключительность, константой — сама функция тоталитарной идеологии. Переменными можно считать своеобразие (социокультурное, религиозное, поколенческое и др.) различных массовых организаций, группирующихся вокруг ядра централизованного и репрессивного руководства, характер распространения "Учения", будет ли это "обучение", "формирование сознания", "пропаганда" или обязательное следование предписаниям, отклонение от которых жестко карается. Точно так же

* Mampel S. Versuch eines Ansatzes für die Theorie des Totalitarismus // Totalitarismus. В., 1988. S. 13-30 (особенно с. 14 и 15).

** Ibid. S. 15.

* Zaslavsky V. Il consenso organizzato. La società sovietica negli anni di Breznev. Bologna: Universale Paperbacks il Mulino, 1981. 221 p.; Idem. L'esperanza sovietica // Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto. A cura di M. Flores. Milano: Bruno Mondadori, 1998. P. 103-130.

** Curtis M. Totalitarianism. L., Brunswick, 1980. P. 8-9.

*** Curtis M. Op. cit. P. 49. Схожей позиции придерживается и Г.-Й. Глэсснер, настаивающий на том, что при этом речь идет об "изменении внутри режима, а не самого режима" (Glaessner G.-J. Kommunismus—Totalitarismus—Demokratie: Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung. Frankfurt a. M.; etc. Lang, 1995. S. 121. Он приводит слова В.Гурландта (1954), сказанные им в объемном предисловии к книге М.Г.Лангеса о тоталитарном воспитании: "Террор явно недостаточен для объяснения потребностей господства... Гораздо большее воздействие при этом оказывает манипулирование ценностями, идеями и формами сознания, которые униформируют и навязывают государственно-идеологическое единство" (Glaessner G.-J. Op. cit. S. 125).

различаются и степень монополизации информации, **доступа** к оружию, характер соблазнения (награды, премии, знаки заслуг и отличий для поддержания и укрепления системы, короче, любые формы гратификации, параметры мобильности, неясные компромиссы с властью разного уровня). Константой можно считать и господство над экономикой, переменными — отношения собственности. «Нацизм показал, что вполне возможно господство над экономикой в форме прямого ее руководства и планирования в условиях частной собственности на средства производства. Для этого вовсе не так уж необходимо установление государственной собственности, как в странах "реально существующего социализма". Но, конечно, госсобственность на средства производства становится особенно действенным средством реализации господства тогда, когда госаппарат и работодатель **идентичны**»*.

В обществах этого типа отсутствует не только свобода политических выборов (при наличии антуража демократических институтов и процедур), но и свобода действия (что особенно отмечал М.Куртис) — отрицается право граждан на въезд и выезд за рубеж, а часто и мобильность внутри страны. В экономическом плане идеология защищает преимущества и приоритеты централизованно управляемой экономики, которая, в свою очередь, может держаться только централизованным государственным рacionamento и контролем за потреблением граждан, осуществляемым прежде всего в целях накопления инвестиционного капитала. Исключительное значение, по мысли М.Куртиса, имеет личность диктатора, психический склад которой предопределяет и специфику **режима****.

М.Функе добавлял сюда еще несколько моментов: и у авторитарной, и у тоталитарной власти есть несколько общих черт, отличающих их от парламентской демократии — отсутствие ограничения сроков пребывания у власти (регулярно повторяющихся выборов, на которых граждане могут свободно решать вопросы выбора кандидатов на высшие посты в государстве), а тем самым и признания права на политическую оппозицию; отсутствие независимого **судопроизводства*****.

Тоталитарный режим, в отличие от авторитаризма, устанавливается всегда в результате определенного кризиса, когда подданные в воле радикальной партии или движения видят простой и убедительный выход из непереносимой и безвыходной ситуации. Поэтому в общую симптоматику тоталитаризма М.Функе включает наличие радикальной партии и репрессивной бюрократии, готовой к репрессиям **с нарушением** правовых норм и установления, что, вообще-то говоря, делает слишком неопределенными признаки современных тоталитарных режимов. Концепция закрытого общества, замещающего прежние правовые принципы и ценности, аксиомы гражданского общества, означает не просто наличие тотальной и всесторонней пропаганды, но и установление определенной защитной или отчуждающей дистанции против всего, что поступает *из-за* рубежа. Такое уточнение косвенно допускает предположение, что закончилось формирование "нового человека", отвергающего разделение государства и личности, особо ценящего порядок и стабильность в стране, превозносящего благотворность порядка, при котором партия и государство — это все, "полнота обладания"; свобода и ответственность, индивид, личность — ничтожны. Едва ли такая посылка оказывается существенной для нацистского или даже итальянского режимов в силу относительной кратковременности их существова-

ния, но она вполне может быть признана для СССР и стран социалистического лагеря, прежде всего для ГДР — страны двойного тоталитарного опыта*.

Отметим еще **один** момент: в трактовке тоталитаризма у социологов или историков, т.е. исследователей, принимающих эту конструкцию в качестве работающей теории, с конца 60-х годов начинают включаться мотивы "патологической модернизации", поскольку как раз в это время получают наибольшее развитие различные варианты и версии **модернизационных** процессов и возникает возможность применения их к тоталитарным системам. Нельзя сказать, чтобы это было самостоятельным или абсолютно новым аспектом рассмотрения тоталитаризма (идеология построения нового общества, форсированной индустриализации с самого начала входили в рассмотрение политики большевиков, итальянских фашистов или нацистов в Германии), но все-таки такой подход предоставлял определенные нюансы для оценок не только быстрого развития промышленности, но и социальной инфраструктуры и коммуникаций, урбанизации, повышения благосостояния рабочих и других социальных вопросов. Близкой по типу является довольно часто встречающаяся трактовка фашизма и коммунизма как контрмодернизации или как "контрреволюции" по отношению к "мировой революции глобальной вестернизации" (выражение Т.Х.фон Лауе).

Оценивая последующее развитие изучения тоталитаризма, можно сказать, что именно эта расширенная версия концепции К.Й.Фридриха и З.Бжезинского стала базовой для всех дальнейших эмпирических или теоретико-методологических исследований. Любые предметные разработки либо принимали ее как схему интерпретации (предметную конструкцию), либо отталкивались от нее, детализируя, выделяя какие-то стороны или аспекты изучаемой области, часто полемизируя с этими авторами по поводу трактовки отдельных составляющих модели. Все это укладывалось в рамки нормального научного процесса (чего нельзя сказать об идеологической критике, о которой речь пойдет ниже).

Третий и четвертый периоды исследований тоталитаризма дали множество работ, использующих эту теорию как рабочую гипотезу или модель, систематизирующих и развивающих выдвинутые пункты теории тоталитаризма. Даже не принимающие ее в качестве генерализованного типа истории, например, историки фашизма, были вынуждены учитывать в своей работе данную постановку вопроса, расширяя тем самым круг описываемых социально-институциональных явлений. Особое значение имели работы К.Д.Брахера, Х.Бухенхайма, Р.Лёвентяля, А.Таско, Р.Арона, Дж.Л.Талмона, Дж.Лейбхольца, М.Дратса, Кр.П.Лудца, Х.Й.Либера, О.Штаммера и др.**

Таким образом, теория тоталитаризма, опирающаяся прежде всего на понятие тоталитарной системы или тоталитарного режима, системы особых, характерных лишь для институциональных структур диктаторских и террористических обществ XX в., непрерывно развивалась и дополнялась все новыми и новыми деталями и функциональными связями. Понятно, что все многообразие организационно-политических нюансов и исторических проявлений это модельное понятие (массового репрессивного режима, пронизывающего все сферы общественной жизни) охватить не в состоянии и не должно. Однако оно сохраняет свою исходную интенцию быть идеально-типической схемой объяснения конкретной исторической социальной практики, служить основой для фиксации значимых отклонений, инструментом сравнительного

* Mampel S., Op. cit. S. 15.

** См.: Curtis M. Totalitarianism. P. 7-9.

*** Funke M. Die Erfahrung und die Aktualität des Totalitarismus // Totalitarismus. B., 1988. S. 49-62.

* Zwei Diktaturen in Deutschland. Frankfurt a.M., 1995.

** См. сборник, содержащий ряд работ многих из этих авторов: Wege der Totalitarismus-Forschung / Hrg. von B.Seidel, S.Jenkner. Darmstadt, 1968.

анализа. В наибольшей степени оно пригодно и адекватно для советского общества на пике сталинизма (1935-1953 гг.), в несколько меньшей степени — для гитлеровской Германии (1933-1943), еще меньше — для муссолинивской Италии. Проблематична схема для франкистской Испании, хортистской Венгрии или Португалии Салазара. Дискуссионна, хотя и может быть выдвинута как рабочая, гипотеза для Кубы, Вьетнама (особенно периода почти 30-летней войны), Китая Мао Дзэдуна (прежде всего времен культурной революции); видимо, она может быть опробована и для Ирана после исламской революции и диктатуры аятолл, полпотовской Камбоджи, постколониционных африканских режимов или революционной Никарагуа и т.п.*

С исчезновением гитлеровской Германии, фашистской Италии, с уничтожением в ходе советской оккупации всех фашизоидных движений и режимов в Восточной и Центральной Европе (в балтийских странах или на Балканах) и складыванием единой социалистической системы (с очень близкими, если не идентичными структурами господства), исчезают прежние варианты тоталитарных государств. В поле внимания и интереса исследователей остается главным образом советская модель, к которой и прилагается схема "тоталитарного синдрома". И здесь возникают основные трудности концептуального характера.

Ошибки и заблуждения возникают в основном при реифицированном понимании самой конструкции тоталитарной системы, трактуемой как описание реального общества, а не как функциональной схемы технологии господства. То, что было вполне оправданным на стадии разработки теории и логической связи отдельных ее концептуальных элементов (см. выше, применительно к критике концепции К.И.Фридриха и З.Бжезинского), становится методологически некорректным при отождествлении схемы и реальности конкретного общества**. Основная проблема заключается в том, что схема рассматривалась как полностью реализованная (полное манипулирование человеком, полная интернализация идеологического учения, полный контроль со стороны партийного аппарата и тайной полиции за умами граждан, абсолютно монолитное единство населения и аппарата управления и пр.). Такой вывод принять довольно трудно, особенно если он относится к поздним фазам советского развития. Более того, критики концепции тоталитаризма, особенно в 70-80-е годы, вполне здраво утверждают, что этого и не было никогда. Допустить подобное отождествление означало бы отказаться от понимания и учета таких явлений, как диссидентство, бегство на Запад из Восточной Германии, увеличивающаяся эмиграция из СССР и других социалистических стран, низкая продуктивность советской экономики и т.п., более того, вообще отказаться от перспективы изменения системы.

Историки и национал-социалистической системы, и советской властной элиты постоянно подчеркивали "подко-

* Например, характерную попытку расширить сферу применения понятия "тоталитаризм" см.: *Manousakis G. Der Islam — eine totalitäre Gefahr? // Totalitarism. B., 1988. S. 224-234.*

** Г.-И.Глэсснер подчеркивал, что в подобных ситуациях речь идет о "смешении идентификационных и объясняющих понятийно-теоретических элементов": идеально-типические понятия режима и системы институтов подменяются реально типическими понятиями конкретных исторических форм и институтов, описанных на материале СССР или нацистской Германии; поэтому они ассоциируются уже не со всем целым системой тоталитарных институтов), а с отдельными конкретными историческими образованиями, институтами и социальными группами в соответствующих странах, полагаемых как "идеально-типические", генерализованные, но функционально используемых как "реальные типы". *Glaessner G.-J. Kommunismus — Totalitarismus — Demokratie: Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung. Frankfurt a. M., 1995. S. 32.*

верную" борьбу разных клик и ведомств между собой. Собственно именно этот антагонизм и соперничество вождей, отражавших интересы более широких социальных групп или — для советской системы — национальных территорий и регионов, и обозначил границы силовых линий будущих разломов, по которым позднее пошли процессы децентрализации и распада, автономизация как отдельных функциональных подсистем, так и этнонациональных элит и сообществ. Однако ошибка противников теории тоталитаризма заключается в том, что наличие различных групп интересов внутри тоталитарного режима не означает их "плюрализма", поскольку в данном случае принципиально важно действие механизмов, подавляющих репрезентацию этих групповых или функциональных интересов, вынесения их в публичную сферу правового регулирования. Перенос борьбы на высший уровень, на котором только и могут быть так или иначе разрешены подобные коллизии, часто не формально-процедурным порядком, а компромиссами личных отношений или иным образом, придает системе видимость патернализма. Речь идет о дефиците легитимности в ситуации позднего тоталитаризма, когда давление часто рациональных, технических императивов "уравновешивается" склеротической неспособностью к принятию решений, разрешению различных внутрисистемных конфликтов, особенно на низших уровнях системы. "Кондоминимум функциональных претендентов на власть и их аппаратов власти, возглавляющих управление, экономику, вооруженные силы, полицейский репрессивный аппарат террора и пр." заставляет включиться в конкуренцию за власть и репродуктивные институты и элиты, которые на первый взгляд не связаны с властными отношениями, но зависимость от клика и группировок в руководстве вовлекает их в борьбу и подчиняет их тем же течениям, что и сами властные группы*.

Снять подобное противоречие "единства и множественности" групп влияния можно было бы только с растущим пониманием того, как из самого общества, его культуры, его ценностей вырастает режим такого типа. Дилеммы здесь возникают точно такие же, как и с другим понятием, являвшимся долгое время претендентом на универсально теоретическую роль, а именно: фашизмом, которым охотно пользовались марксисты, левые социалисты, историки фашистских движений, но особенно советские идеологи и пропагандисты (хотя не только они), но которое почти никогда не признавали в послевоенной Германии в качестве модельного или дескриптивного.

Мнимости и недоразумения в оперировании понятием "тоталитаризма" заключались не только в идентификации институциональных технологий воспроизводства структуры господства с самим обществом, но и в использовании неадекватного для этих целей понятия (конструкции) "общества". Вместо эмпирических исследований и полученных на их основе описаний реальных (формальных, неформальных, латентных и пр., но фактически действующих) социальных образований, возникающих одновременно с режимом, внутри системы, используются нормативные, неэмпирические конструкции общества, причем нормой здесь может быть либо старое понимание общества (до-революционное), либо условно "нормальное" общество (гражданское, идеологическое, желаемое, расцениваемое как то, что должно быть на месте тоталитарного социума, как на "Западе", в "нормальных странах" и т.п.). Соответственно, вместо объяснения фиксируются отклонения, различия, несоответствия (по схеме: ...не то, не то, не то). Такой ход является неслучайным, ибо в этой ситуации обнажается исходная ценностная основа теорий тоталитаризма, фиксирующая разнообразные нормативно-

* *Glaessner G.-J. Op. cit. S. 126.*

институциональные формы *неприятия ценностей* и самой сути западного правового и демократического порядка.

В этом главная причина теоретических и методологических затруднений. Простым указанием на это обстоятельство (связь с ценностными представлениями и идеями исследователей, ценностная нагрузка понятий) вопрос решен быть не может. Как замечает граф К.Баллерстрем, упреки в идеологической ангажированности теории тоталитаризма, **нагруженности** ее понятий политическими интересами несостоятельны. В конце концов все ключевые понятия современной демократии и правового общества были когда-то средствами идеологической и политической борьбы против Старого режима и лишь с течением времени, после систематической проработки, постепенно превратились в конститутивные и аналитические понятия*.

Выход из подобных антиномий может быть предложен лишь фактическим изучением действительности тоталитарного общества, включая его повседневность, реальную социальную структуру ("тоталитаризм снизу") и т.п. В последнее время эти темы начали привлекать внимание исследователей, рассматривавших "жизненный мир" повседневности, существование в малых группах — семье, круге знакомых, соседей, сослуживцев — как "контекст противоречивых процессов модернизации, уже не "догоняющей" и не тоталитарной, не форсированной. В посткоммунистических обществах именно эта среда взаимного доверия, а не авторитарный публичный коллективизм, обнаружила не только ресурсы **гемайншафтных** ориентации, эгалитарной общинной жизни и переживаний частной, приватной солидарности (*Gemeinschaftserleben*), но и потенциал массовой демократизации, который трудно было ожидать на других уровнях социальной жизни. "В амбивалентном самоограничении в малых жизненных мирах" возникла "позитивная антитоталитарная контркультура, рождался гуманистический этос, критический по отношению к идеологии эгалитаристский дух и смысл свободы", но одновременно укреплялось и "неприятие мученичества в рискованных прорывах к идеальной демократии". Конечно, гражданский потенциал этой, часто весьма самодовольной и нарциссической, культуры повседневности трудно переоценить, но все-таки именно эти среды, маленькие изолированные миры создавали некоторый противовес тоталитарной мобилизации, авторитарно-иерархической бюрократии. Консюмеризм, маленькое счастье внутри семьи могло легко сопровождаться не только **внутригрупповым**, внутрисемейным авторитаризмом, но и конформизмом, приватностью, лишенной всяческой политической ответственности и участия**.

Любые готовые и привычные схемы здесь могут быть только помехой. Следует сразу сказать, что новых принципиальных или удовлетворительных концептуальных разработок поднимаемых вопросов в западных социальных науках не предложено. Для себя и своих коллег единственно результативный выход из этого тупика я вижу в движении, заданном (но не завершеном) программой "Советский человек". Но об этом позже.

С конца 60-х годов становится заметным отчетливое политико-идеологическое раздвоение в отношении к проблематике тоталитаризма. Находящиеся под влиянием левых (Г.Маркузе, Б.Бара, П.Свици и др.) интеллектуалы практически полностью рвут с методологиями позитивного социального знания и, соответственно, с парадигматикой теорий тоталитаризма. По разным причинам этот теоретичес-

кий подход подвергается жестокой и несправедливой критике как со стороны историков, так и левых публицистов. Совершенно меняется сам контекст и тон дискуссий, характер антитоталитарной риторики. Начиная с 70-х годов утвердилось представление о том, что концепция тоталитаризма устарела и изжила себя, поскольку она не соответствовала реальному историческому многообразию проявлений диктаторских режимов в Германии, СССР, не говоря уже о других странах, таких, как Китай, Вьетнам, новые африканские государства или Куба, что делало невозможным их сравнительное изучение.

Многие влиятельные историки (прежде всего немецкие, например, как Х.Моммзен) утверждали, что такие общие понятия, как "тоталитаризм", "фашизм" и им подобные, — это всего лишь идеологические конструкции, средство "подгонки исторических данных под искомый результат" и пр. К ним присоединяются и неомарксисты (а также "постнеомарксисты", бывшие левые, позднее порвавшие с социалистическими взглядами, особенно после выхода "Архипелага ГУЛАГа", осознающие себя главным образом в качестве анти-антикоммунистов, видящие в данном понятии инерцию противостояния времен "холодной войны", научный догматизм и косность политических консервативных убеждений, неадекватных новым условиям жизни в социалистических странах (политике разрядки, появлению диссидентов, некоторой либерализации эмиграционных правил и началу еврейской миграции). Содержательные разработки вязнут в попытках защитить сам этот подход, начинается разбор идеологических оснований теории и контраргументов, и действительно возникает ощущение пробуксовки, холостого хода*.

Тоталитаризм и авторитаризм. Одна из причин, заставлявших говорить о том, что понятие "тоталитаризм" не может теоретически развиваться, связано с тем, что

* Ср.: «Это было время увлечения социальными науками, которые придавали видимость объективности попыткам social scientists обнаружить реальные причины социальных процессов под бесконечными объяснениями, которые каждое общество давало относительно самого себя. При таком подходе идеологический характер советского общества утрачивал свое значение, поскольку был свойствен не ему одному. Советский союз становился "плюралистическим обществом", как все сложные общества. Прилагательное "тоталитарный", ставшее классическим после Ханни Арендт, выходит из употребления не только по отношению к брежневскому СССР, но и по отношению к сталинской эпохе. Его рассматривают как бессодержательное, поскольку теперь речь идет скорее об изучении социальных действующих лиц, нежели о государстве. Так как социальные науки стали теперь не только "научными", но и демократичными, они соединяют изучение "инфраструктуры" с особым вниманием к "маленькому человеку"; они стараются охватить социальную материю снизу доверху. Благодаря их усилиям СССР становится обычным обществом, как все другие... Старшие (из университетских советологов. — Л.Г.) — Фейнсон, Шапиро, Улам, Пайпс, Малия, Безансон, Конквест — заподозрены в том, что писали социологию, вдохновленную холодной войной. Молодые, склонные возлагать ответственность на свою собственную страну, готовы впасть в противоположную крайность. Они стремятся доказать, что сталинизм — это не только отдельный, но и чужеродный период в истории большевизма, отличный от того, что было до и после него... Такова наукообразная форма идеи, весьма популярной в то время, согласно которой коммунизм, включая Брежнев, не несет ответственности за преступления, совершенные Сталиным; или, если выразить ее в более-обобщенной форме, что режим, основанный осенью 1917 года, хорош, несмотря на вызванные им бедствия, а капитализм плох, несмотря на порожденное им богатство. По странному контрасту американские профессора возненавидели понятие тоталитаризм после того, как сами же его создали, а французские интеллектуалы стали его изучать, хотя ранее его игнорировали» (Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М.: МШПИ; Ad Marginem, 1998. С. 550-551).

* *Ballerstrem Graf K. Aporien der Totalitarismus-Theorien // Totalitarismus im XX. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, 1996. S. 240.*

** *Meyer C. Kleine Lebenswelten im Sozialismus. Ein ambivalentes Erbe für die politischen Kulturen in Ostmitteleuropa // Demokratie im Ost und West. Für Klaus von Beyme / Hg. von W.Merkel, A.Busch. Frankfurt a. M., 1999. S. 310-331.*

все описываемые в первой половине века тоталитарные режимы, кроме СССР, уничтожены в результате военного поражения. Кроме советской системы не осталось материала для сравнительного анализа ресурсов и механизмов их устойчивости. Политологи реально не видели теоретических факторов, которые могли бы представить некоторые возможности трансформации тоталитарных систем в нечто более открытое, терпимое и человеческое. Из имевшихся в распоряжении были лишь идея "нового класса", который, укрепляя свои позиции, постепенно превратит тоталитарную систему с ее террором и массовыми репрессиями в более рутинный и менее идеологизированный авторитарный или олигархический режим, и концепция конвергенции, постепенного сближения тоталитарных обществ с демократическими вследствие равновесия сил и отсутствия шансов на военное превосходство у любой из них. Предполагалось, что благодаря технологическому и информационному развитию, необходимости уживаться произойдет взаимная адаптация различных режимов. Крах коммунистической системы на деле показал несостоятельность этих концепций — жесткость системы не допускала постепенных процессов адаптации и усложнения своей структуры.

Однако уже в середине 60-х годов была предпринята попытка наметить некоторую теоретическую перспективу трансформации тоталитарной системы в менее закрытую и репрессивную. Х.Линц, основываясь на опыте Испании, выдвинул идею идеально-типического различия тоталитарных и авторитарных режимов*. Его работы вызвали значительный резонанс и вошли в арсенал политологических исследований в 80-х годах. "Авторитарными" в отличие от тоталитарных Х.Линц называет "такие политические системы, которые характеризуются ограниченным, но лишенным ответственности политическим плюрализмом, в которых нет какой-либо систематически разработанной и руководящей или сакральной, миссионерской идеологии. Они, однако, обладают отчетливо выраженными формами ментальности, которые допускают и оправдывают жесткое массовое управление. В этих системах невозможна какая-либо экстенсивная или интенсивная массовая политическая мобилизация, хотя в их собственной истории становления подобные моменты мобилизации вполне возможны. Власть здесь имеет и осуществляет вожь (иногда узкая группа лиц) внутри формально едва ли определенных, но фактически вполне предсказуемых границ**". Как правило, легитимационное обоснование авторитарного режима, появляющееся при захвате власти и отмене (если они были) демократических законов и норм, означают не определенные представления о срочной необходимости наведения порядка в стране, восстановления единства страны, свержения коррумпированных режимов или отстранения от власти олигархических кланов, освобождения от иностранного влияния и т.п. Во всем этом нет, собственно, идеологического обоснования или идеи, могущей быть привлекательной для интеллектуалов, способных рационализировать ее и превратить в соблазнительные для массы лозунги***. Сила притяжения тоталитаризма резко контрастирует с пассивным принятием авторитарных режимов, их склонностью к традиционализму, лишенному какой-либо строгости и определенности духовной позиции. Акцент в понятии

* *Linz J.J. An Authoritarian Regime. The Case of Spain. Cleavages, Ideologies, and Party Systemes / Ed. E.Allard, Y.Littunen. Helsinki, 1964.*

** *Linz J.J. Totalitäre und autoritäre Regime / Hrg. von R.Kraemer. B., Berliner Debatte Wiss.-Verl., 2000. 311 s. (Немецкое издание — переработанный и дополненный вариант более ранней работы: *Linz J.J. Totalitarianism and Authoritarian Regimes // Handbook of Political Sciences / Ed. F.Greenstein, W.N.Polsky. Addison; Wesley. 1975. Vol. 3. P. 175-411.)**

*** *Linz J.J. Totalitäre und autoritäre Regime. S. 144, 145.*

"тоталитарная система" делается на массовой мобилизации, "авторитаризм" довольствуется политической апатией, пассивным терпением и послушанием подданных, оппортунизмом и цинизмом элиты.

Несмотря на все усилия Х.Линца, остающегося, по существу, едва ли не единственным автором, который ставил перед собой задачу прояснить объем и семантическую структуру понятия "авторитаризм", развести между собой такие формы современных диктаторских режимов, как авторитаризм, деспотизм, султанизм и т.п., окончательной ясности здесь добиться не удалось. Проблема авторитаризма в посттоталитарных обществах остается довольно туманной, если вообще это понятие пригодно для описания ситуации, например, в России (включая и те режимы, которые возникли после краха советской системы в ее регионах — несменяемых МРахимова, М.Шаймиева, Р.Аушева и др.), Белоруссии, Киргизии или в Узбекистане. Неясны те основания, на которых держится эта власть, институциональные механизмы, создающие такой баланс сил различных группировок, который принимает видимость личного авторитарного правления. Если понятие "авторитаризм" как более модернизированная форма традиционного господства может с большим или меньшим успехом применяться к таким обществам, как Саудовская Аравия, Эмираты или Ливия, Малайзия или Индонезия, то для посттоталитарных структур господства оно требует серьезной понятийной разработки и уточнения. Как, впрочем, и понятие "тоталитаризм" для таких режимов, какие установились в Ираке или Иране, Заире и т.п. Совершенно очевидно, что именно подобные формы следует считать "нормальными" для большинства стран и обществ, захваченных процессами модернизации или глобализации, и "аллергически" реагирующих на давление вестернизационных факторов.

Психологические последствия тоталитаризма. Попытки зафиксировать и проанализировать опыт существования в условиях тоталитарных институтов или режимов начались практически во время войны. Это были и научные, и документальные книги, и художественная литература*. Первоначально это было осмысление экзистенциального и морального события уничтожения человеческой личности, затем — более сложный и генерализованный анализ массовых репрессий и их механизмов, последствий для коллективного сознания и психики. Очень кратко этот характерный комплекс заключенного можно выразить словами В.Франкла: "апатия и агрессивность", вызванные потерей привычных нормативных определений социальной реальности, хронической угрозой жизни, репрессиями, разрушением ценностей, придающих смысл самому существованию людей. Апатия (если брать не инди-

* По словам Б.В.Дубина, которому я обязан этой информацией, уже в октябре 1943 г. в американском "Журнале патологической и социальной психологии" была опубликована статья Б.Беттельхайма "Индивидуальное и массовое поведение в экстремальных ситуациях" о повседневном существовании в немецких концлагерях, которая по приказу командования распространялась среди офицеров американской армии для ознакомления. В 1946 г. в Вене вышли книги В.Франкла "Психолог, переживший концлагерь" и польского историка М.Борвича "Литература в лагере". В 1947 г. — французского писателя Р.Антельма "Род людской", бывшего заключенного Бухенвальда, роман о лагерях Д.Руссе "Дни нашей смерти" (его документы о сталинских лагерях через несколько лет О.Пас опубликует в журнале "Сур" в Буэнос-Айресе). Еще позже (1961 г.) вышел роман П.Равича "Кровь неба" об Освенциме, опиравшегося на собственный опыт узника в этом лагере. В 1963 г. — документальная книга П.Леви "Передышка" о советских фильтрационных лагерях и автобиографический роман о немецком лагере французского писателя Х.Сепруна "Большое путешествие", за который он получил крупнейшую международную премию книгоиздателей "Форmentor".

видуальный план оценок, а коллективный) означает утрату значимости **инстанций**, которые задают позитивные образцы действия, ориентиры, идеалы, саму возможность социальной графикации, постоянное понижающее давление (в моральном и человеческом отношении) социального и институционального **окружения**. Апатия, т.е. отрицательная характеристика действия, коррелирует с другими, столь же негативными характеристиками массового социального поведения, предполагающего отказ от нормативно ожидаемых реакций (безответственность, лицемерие, недоверие, изоляционизм, астенический синдром и др.). Разумеется, эти явления относительной общественной деградации могут быть зафиксированы только "извне", после самого краха системы или же — при внутренней отстраненности от происходящего. То, что многократно описывалось в статьях, опубликованных в "Мониторинге", как устойчивые психологические состояния массового сознания в России или в бывших социалистических странах после краха режимов (страхи, тревожность, фобии, растерянность, депрессии, ощущение растущей озлобленности и агрессивности окружающих, фрустрации разного рода и пр.), лишено какой-либо связи с экономическим положением, социальным статусом, вообще индивидуальными особенностями респондентов*. Более того, это явление присуще всем посттоталитарным обществам. Х.Моммзен, говоря о состояниях общественного мнения после краха гитлеровского рейха, перечисляет такие феномены, как острый кризис ориентации, **деполитизация** и общественная апатия ("...только без меня"), снятие с самих себя или с немцев в целом ответственности за прошлое, вытеснение прошлого, его разрушение, историческая афазия, постоянное требование подвести черту под прошлым, астеническое бесчувствие (он приводит слова Александра и Маргарет Митчерлих о неспособности немцев после войны переживать печаль и скорбь (*Unfähigkeit zu trauern*, быть открытым к переживанию потери, утраты, горя), склонность переносить всю вину за преступления режима, в которых участвовали широкие группы населения Германии, на Гитлера, сопротивление всяким попыткам историков и журналистов поставить общественное мнение перед фактами этих преступлений, рационализировать опыт прошлого и т.п.** В принципе это

* См. статьи, опубликованные в журналах "Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения". 1997. № 2; "Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены". 1999. № 1; № 3; 2000. № 5; и др.

** Доклад Ханса Моммзена "Осмысление недавнего прошлого в Германии после 1945 года" на конференции "Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков". Москва, 15 мая 2001 г. Некоторые места из его выступления звучат для российского слушателя неожиданно актуально, особенно на фоне провала всяких попыток привлечь к ответственности компартию и осудить сам коммунистический режим в первой половине 90-х годов. По его словам, сопротивление преследованию нацистских преступников и бюрократическая заинтересованность в кадрах высших военных и функционеров для сохранения вермахта, судебной системы, государственных чиновников оборачивалось явной склонностью к их защите, готовности обелить и перенести ответственность исключительно на Гитлера, приписав ему решающую роль внутри режима, или на сравнительно небольшую клику главных военных преступников. Этой тактике соответствовало широко распространенное отношение в обществе представить большинство населения Германии в качестве жертвы, сбитой с толку обещаниями Гитлера и национал-социалистической пропагандой. "Представление о монолитной системе, проникнутой волей фюрера, содержит невысказанную апологетическую тенденцию, так как при таком подходе затемняется ответственность консервативных сторонников Гитлера, а наряду с ними — и представителей функциональных элит". Речь идет о переворачивании старого стереотипа: "если бы только фюрер знал" (параллель: "Сталин не знает..." — Л.Г.), при котором культ фюрера не исключает растущей критики населением ситуации внутри страны и правонарушений со стороны господствующей системы.

почти буквальное повторение российской ситуации с антисталинской критикой ("очернением нашей истории") и попытками осмыслить советское прошлое. Вопрос в том, мог бы состояться процесс рационализации и преодоления прошлого в Германии без постоянного давления союзников и их военных судов, остается для меня открытым.

Но дело не только в психологических комплексах апатии, безответственности, аморализма, но и их проекциях в плоскости экономического или политического поведения. Чтобы не повторять основных выводов и наблюдений из "Советского человека", но и не терять их из виду, приведу наблюдения польско-немецкого социолога **Е.Мачкова** об антропологии нынешних жителей бывшей ГДР ("оси")*. Анализируя трудности или даже относительную неудачу переноса западногерманской системы на восточногерманские земли, автор приходит к выводу, что этот крах предопределен отсутствием традиций западного гражданского общества и формированием специфического социально-антропологического типа. "За последние десять лет 16 млн восточных немцев получили в виде разных трансфертов из западных земель свыше 2 трлн немецких марок. Это вдвое больше, чем валовой внутренний продукт Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Эстонии вместе взятых, стран, в которых живут 130 млн человек". Мотивы этой политики определены стереотипами экономического детерминизма: чем больше денег приходит извне, тем благоприятнее общественное развитие страны. «Если бы это уравнение было чем-то большим, нежели мифом, то Восточная Германия сегодня была бы населена исключительно ангелами"... «Атомизированный человек без исторического сознания и исходной системы ценностей, испытывающий благоговение по отношению к государству, молящийся на него, которое, в свою очередь, организует всю его жизнь и обеспечивает его существование, такой человек называется "советским человеком". Советского человека, являющегося совершенным продуктом коммунистической системы, без колебаний отказавшего от своей свободы, принес ее в жертву на алтарь безграничной лояльности государству, можно найти в каждом коммунистическом государстве». Там, где имел место крах рыночной экономики или она была невозможна длительное время, устанавливалась авторитарная политическая система, а экономическая катастрофа превращалась в хроническое состояние. "Там *Homo Sovieticus* становился самым устойчивым типом человека". В Восточной Германии позитивное воспитательное воздействие рынка в настоящее время ограничено. Стремясь добиться быстрого уравнивания доходов и уровней жизни в восточных и западных землях Германии, политика ослабляет и парализует эти механизмы. В результате рынок мстит тем, что там, где зарплата искусственно вдвое завышена по отношению к производительности труда, стремительно развивается безработица, фрустрация, вызванная незаслуженным благополучием и неуверенностью в нем, комплекс колонии, чувство людей второго сорта. Восточные немцы компенсируют свою фрустрированность, делая ответственными за свои проблемы "чужих" и "асоциальных" (бездомных, гомосексуалистов, левых и т.п.). Именно эти настроения оборачиваются идеологическими симпатиями к правоэкстремистским группировкам и партиям, непосредственно примыкающим к национал-социализму.

* *Machkow J.* Sowjetmenschen im Sozialstaat. Was in Ostdeutschland falsch läuft: Das Wohlfahrtsystem konserviert das tble Erbe der DDR // Die Zeit. 2001. 22 März.

Предварительные итоги. Попробуем суммировать результаты нашего разбора составляющих конструкцию тоталитаризма. **Хотя** по замыслу эта конструкция должна быть универсальной по своему назначению, т.е. быть способной описывать различные режимы и технологии господства, в данном случае я считаю нужным максимально учитывать особенности советской системы и делать это по двум причинам.

1. Советская система, по общему мнению исследователей, наиболее близка к теоретической модели и не только в силу интенсивности репрессивной организации, но и направленности террора: в отличие от нацистского режима, террор и репрессии в СССР захватывали все население, внутри которого возникали "враги", а не отдельные, более или менее выделяемые этнические группы (евреи, цыгане), которых гитлеровский режим выдвигал на роль символических "носителей зла". Она была единственной, которая рухнула по внутренним причинам, а не в результате военного поражения. Ее крах повлек за собой падение всех тоталитарных режимов Восточной и Центральной Европы (от Чехословакии до Югославии и даже Албании), которые сами по себе, несмотря на все видимые напряжения внутри этих стран, восстания и массовые движения против коммунистической диктатуры, могли бы функционировать еще не одно десятилетие. Соответственно, только советская система прошла весь цикл своего развития, если воспользоваться органическими аналогиями.

2. Для наших задач — проследить, в какой мере сохранились структуры советского типа в нынешней России и какое воздействие они оказали на склад массового сознания — интересно дать наиболее полное развертывание тоталитарной модели и сравнение ее с советской или российской действительностью (так, как она представлена в материалах эмпирических исследований) для того, чтобы затем иметь возможность каузально или функционально объяснять возникшие отклонения или зависимости*.

Под "тоталитарной системой" следует понимать структуру институтов репрессивных и закрытых обществ, функционирование которых обеспечено определенной технологией господства. Хотя она возникает в ситуации острого общественного и культурного кризиса, краха предшествующего социально-политического порядка, она может функционировать только как система повседневного управления, интернализуя все элементы чрезвычайщины, героизма, экстраординарности, спасения и пр. в качестве элементов пропаганды, мобилизации, условий репрессивного контроля и легитимации режима власти. Отметим ее важнейшие черты.

1. Слияние "партии и государства", номенклатурная конституция общества. Партийные органы, независимо от того, какова была предыстория формирования режима (захват власти радикальной партией, оккупация, аннексия), обеспечивают контроль за социальной структурой путем систематического кадрового назначения и перемещения руководителей любого уровня, вплоть до самого низшего. Тем самым организация общества подчинена жесткому иерархическому порядку, оно конституируется, образуется сверху вниз, верхние уровни социальной организации подбирают и упорядочивают нижние. Общество тем самым поставлено на "голову": властный верх рано или поздно начинает представлять собой наименее компетентную и информационно насыщенную среду, ли-

шенную потенциала развития и оптимизации своей деятельности. Сеть партийных органов пронизывает любые организации и социальные образования независимо от их функций и назначений. Партия подразделяется на "внутреннюю партию" (аппарат) и внешнюю, обеспечивающую массовую поддержку и выполнение политических решений "партии-и-правительства", а также контроль за происходящим в обществе. Партийные структуры, в свою очередь, дополняются множеством других организаций, покрывавших все разнообразие социальных форм, государственных и общественных объединений, хотя по значимости на первом месте стоят самые массовые организации — профсоюзные, молодежные, детские, спортивные и т.п. Матрица централизованной организации (социальный контроль сверху вниз как принцип их образования и конституции) задает определенную внутреннюю логику развития подобных структур господства: а) растущая концентрация власти (принятие решения) на высшем уровне и тем самым нарастающая неэффективность, недееспособность всей системы; б) систематическое возникновение феноменов и механизмов "ведомственной харизмы" (или, как называл ее Ю.А.Левада, "наведенной", вторичной харизмы), придание авторитета только одной социальной позиции в иерархии — вышеступающему руководителю, наделение вождя ореолом непогрешимости и всеведения. Однако именно по обстоятельствам бюрократической селекции (выбор лидеров ограничен членством партии) наверх может пройти только наименее инициативный и самый лояльный к вышестоящему начальству кандидат. При каждой смене лидера, при каждой итерации властного цикла на место лидера приходит все менее активный и менее дееспособный индивид, причем этот процесс длится до тех пор, пока сам механизм (по данной логике) не ломается. В перспективе такая жесткая структура социальной организации должна с неизбежностью повлечь за собой ограничение и уничтожение автономности различных функциональных сфер общественной жизни, а следовательно, и подавление социального и культурного разнообразия, резкое снижение значимости автономных структур гратификации в каждой из этих функциональных областей. (Социально-психологическими следствиями этого будут наблюдаемые сегодня и фиксируемые в наших опросах уравниловка и апатия, пассивный характер адаптации к давлению властей, инерция патерналистского отношения к власти.) Как только прекращается массовый террор, начинается интенсивный, прежде латентный, затем все более и более открытый процесс децентрализации партийных государственных или партийно-хозяйственных структур (по отраслевым, этнонациональным или республиканским, местным и другим полуаскриптивным параметрам)*. Скрытая борьба отдельных клик и группировок за власть, не имеющая или лишенная идеологического оправдания, сопровождается ростом общей коррумпированности структурообразующей партии и цинизмом ее членов, защитой полученных позиций, а значит, одновременно и усилением социальной сегментарности[™] в обществе, иерархической замкнутости, кастовости и общей стагнацией, утратой авторитета руководства в обществе, а через некоторое время — появлением (там, где репрессивный порядок слабеет) некоторого подобия контрэлит, получающих моральный авторитет.

2. Организованный и принудительный общественный консенсус, создаваемый благодаря монополии на средства

* *Rupnik J.* Totalitarianism Revisited // *Civil Society and State* / Ed. J.Keane. L., 1988; *Hanson S.* Social Theory and Post-Soviet Crisis. Sovietology and the Problem of Regime Identity // *Communist and Post-Communist Studies*. 1995. N 1; *Janos A.* What was Communism? A Retrospective in Comparative Analysis // *Communist and Post-Communist Studies*. 1996. N 1.

* Одну из ранних попыток рассмотрения борьбы разных группировок в советском и чехословацком руководстве см. у Г.Скиллинга и Ф.Гриффита: *Skilling H.G.* Group Conflict in Soviet Politics, Some Conclusion // *Interest Groups in Soviet Politics* / Ed. H.G.Skilling, F.Griffiths. Princeton, 1971.

информации и пропаганды вместе с режимом строжайшей цензуры. И то и другое обеспечивает условия для хронической мобилизации населения на выполнение решений "партии—государства", обещающей "неуклонное повышение жизненного уровня трудящихся" и тем самым задающей параметры массовой спокойной уверенности в завтрашнем дне. Гарантии будущего и солидарность против внешних и внутренних угроз, реальных или фиктивных врагов создают определенное равновесие в обществе. Внимание подданных сфокусировано преимущественно на сюжетах внутренних событий страны, изолированной от внешнего мира; отсюда — сознание исключительности и централизованности "на себе" подданных режима, мощный барьер отчуждения, нежелания знать и понимать то, что происходит за "забором".

3. Государственный террор, осуществляемый тайной полицией, спецслужбами, экстраординарными парамилитарными структурами, выведенными из сферы действия правовой системы, которая, впрочем, начелена по большей части на защиту корпоративных интересов режима и в этом смысле резко отличается от гражданского права в демократических странах. Режим террора (действия институтов тайной полиции, КГБ, первых отделов, спецчастей и т.п.) составляет негласную, необсуждаемую область социальных значений, определяющих массовое поведение, подобно традиционным регуляторам и механизмам (устным образом, некодифицированно, воспроизводясь исключительно в ходе межличностного взаимодействия). Система концлагерей образует другую важнейшую социокультурную составляющую тоталитарной системы, без которой она в принципе не могла бы существовать. Угроза лагеря (превращение в "лагерную пыль") не просто постоянный горизонт происходящего в стране и минусовая точка отсчета шкалы социальных позиций, она образует ценностный негатив по отношению ко всем декларативным официальным ценностям и принципам. В этом плане она является не столько даже объяснением самой устойчивости системы (разделения на чистых и нечистых), сколько ее конституции, ее чрезвычайности и жесткости, воспроизводя и ретранслируя подразумеваемый, но никогда не формулируемый **резидуум** социального знания и компетенций, представлений о природе данного общества. Тайная полиция и концлагерь, с одной стороны, официальная пропаганда и культура — с другой, задают характерное "двойное сознание", "двоемыслие" которое, вообще-то говоря, ничего общего не имеет с феноменами социальной шизофрении, описанной Оруэллом. Эффект двоемыслия — подавление возможностей систематической рационализации социальных отношений, прежде всего появления очагов устойчивых форм позитивной гражданской солидарности, институционализации групповых интересов. Двоемыслие ведет к повседневной парцеляции нормативных правил действия, к невозможности генерализации правил социального поведения, а тем самым — к атомизации социального существования, дроблению его на отдельные, не связанные непосредственно друг с другом жизненные зоны, корпускулы социального существования. В этих условиях оказываются невозможными систематические связи и отношения, основанные на каких-либо иных ценностях и интересах, не санкционированных государством, во всяком случае, их оптимизация и гарантированное развитие. Невозможна институционализация структур, возникающих из внесударственных источников и питающихся внесударственными ресурсами (в пределе — гражданское общество). Террор здесь обеспечивает реализацию нескольких социальных функций: *механическую интеграцию* социума, дисциплинирование массы и показную лояльность к ближайшим властям, *смену кадров* и тем

самым — социальную динамику внутри формальных организаций. Без однонаправленного ("сверху вниз"), репрессивного характера социального контроля и управления любыми сферами социальной жизни тоталитарный режим не может сохраняться в течение длительного времени. Ограниченный и направленный террор — способ поддержания матрицы системы, профилактическое условие функционирования режима, а также условие развития и дифференциации системы в целом. Но вместе с тем террор обеспечивает необходимую подвижность системы, будучи механизмом поколенческой и элитарной смены кадрового состава. Пока действуют механизмы террора, замедляются процессы функциональной дифференциации, механизмы социальной гратификации крайне ограничены (как правило, официальными премиями и поощрениями, статусными привилегиями и т.п.). Сами по себе масштабы и характер репрессий могут сильно различаться — от "большого террора" в 1918–1922 гг., в 30–50-х годах в СССР до преследования инакомыслящих, влияние и численность которых в конце 1970-х — начале 1980-х годов были сравнительно небольшими. Главным в работе органов госбезопасности в позднейшее время была "профилактика", имевшая всеобщий характер. Там, где отсутствовал материал для инициирования дел по государственному преступлению, органы госбезопасности имитировали их (такой характер деятельности сохраняется и в настоящее время, будь то чеченская война, шпионские процессы или уголовные дела против СМИ и политических оппонентов власти). Последствия террора — отсутствие инновационного движения, уничтожение смыслового потенциала, неизбежный рост внутрисистемных напряжений, так или иначе ведущий к стагнации системы в целом, правовой нигилизм или, может быть, привычка к произволу, произвол и насилие как нормальные конструктивные элементы повседневности, горизонт социальности, несущая опора социальной жизни как таковой. Отдаленные последствия террора — складывание социальной и культурной матрицы brutality, повседневного насилия и агрессии, воинственности как формы или средства решения конфликтных ситуаций или ставших проблематичными взаимоотношений, придание силовым институтам символической роли "центральных" в культуре данного общества.

4. Милитаризация общества и экономики, гипертрофированный характер ВПК, подчинявшего себе все прочие отрасли экономики; поддержание в обществе постоянного уровня готовности к войне, угроза войны как горизонт общественной жизни. Деятельность пронизывающих все общество сверху донизу мобилизационных структур, включая средние и высшие образовательные учреждения и полувоенные организации типа ДОСААФ, спортклубов, периодических сборов резервистов, тренировок по гражданской обороне и пр., в меньшей степени предназначены для подготовки населения к защите от внешнего нападения, чем для систематической дрессуры населения. Главными целями этих структур являются приучение к выполнению любых мероприятий руководства, какого бы рода они ни были ("начальству виднее"). Подобная необходимость повиновения оправдывалась угрозами, исходящими из скрытого присутствия внутренних врагов, перерожденцев, подкулачников, шпионов, пособников врагу, людей с чужим образом мысли. Постоянная накачка бдительности предопределяла всеобщие навыки различения своего, "правильного" и "неправильного" поведения, опознаваемого как чужое и враждебное, раздражающее и неприличное. В действительности это вырождалось с течением времени (особенно спустя некоторое время после войны, в 60-х и тем более 70-х годах) и приобретало формы обычной халтуры и пассивного участия в плановых

ритуалах, тем не менее все эта дрессура поддерживала (как сама собой разумеющаяся практика запретов и барьеров) состояние хронического изоляционизма во всех важнейших сферах: закрытый характер общества, ксенофобию, социальную безответственность (перекалывание ответственности на власти). Последствием этого можно считать незаметную деградацию социально-гуманитарного и культурного потенциала общества (относительное одичание), стерилизацию институциональных и индивидуальных способностей усваивать новое в любых отраслях жизни.

5. Планово-распределительная экономика и связанный с этим неустранимый, постоянный дефицит товаров, услуг, информации и т.п. Подчеркну, что дефицит здесь, как это не раз уже писалось, это не просто нехватка или скудость ресурсов, а способ организации общества: официальный статусно-иерархический доступ к распределению благ и ценностей (в соответствии с положением и заслугами перед властью, "начальством"), дополняемый неформальными, "блатными" или теневыми структурами. Теневые структуры отношений, знаний, компетенций, правил поведения и другие составляющие "реального мира" образывали (вместе с лагерями, КГБ, системами устрашения и принуждения) фактический корпус механизмов регуляции и социальных представлений, а соответственно, придавали повседневной жизни оттенок социальной шизофрении, являвшейся необходимым условием рутинного существования общества в целом.

6. Хроническое состояние искусственной бедности населения, возникшей не в силу неразвитости экономики, бедности полезными ископаемыми или почвы, а как функция определенного типа централизованной экономики, направленности ее развития (военно-промышленного, подчиненности государственным, а не частным приоритетам). Бедность в этом случае не просто условие патерналистской зависимости населения от властей, от структур распределительного государства. Бедность здесь имела систематический, функциональный характер, поскольку благосостояние населения (при низкой производительности труда и отсутствии частной мотивации к повышению его эффективности) было единственным ресурсом для государственных инвестиций в соответствующие приоритетные сферы экономики*. Тоталитаризм возникает в условиях нарастающей бедности (отсутствия перспектив для значительной части общества и, соответственно, появления надежд на экстраординарные средства в политике) и может существовать только при поддержании крайне низкого уровня жизни. Можно сказать, что тоталитаризм — это система снижающей эффективности использования ресурсов общества**. Тоталитарный режим не выдерживает сколько-нибудь определенного, пусть и не высокого, но устойчивого повышения уровня и качества жизни, роста массового благосостояния, поскольку при этом начинается не просто эрозия государственно-державных, мобилизационно-аскетических представлений, но и подвижка или смена ведущих ценностей, рост значимости и привлекательности потребительских представлений и мотивов. В этом смысле конец тоталитарного режима предопределен разрывами между стандартами жизни в самой тоталитарной стране и динамикой качества жизни развитых стран, составляющих "мировое сообщество". (Куба и Северная Корея могут составлять дополнительные примеры для аналогичного вывода.)

* Feher F., Heller A., Markus G. Dictatorship over Needs. Oxford, 1983. 305 p.

** Ср.: Brzezinski Z. Dysfunctional Totalitarianism // Theory and Politics. Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für C.J.Friedrich / Hg. von K. von Beyme. Den Haag, 1971. S. 352-374.

7. Неподвижность населения, принципиальное ограничение социальной мобильности как горизонтальной, так и вертикальной, кроме регулируемой государством в собственных целях (принудительная миграция, обусловленная процессами форсированной индустриализации и раскрестьяниванием сельского населения; ГУЛАГовские массовые перемещения и экономика, соединяющая ВПК и лагерь; паспортная система и прописка; свобода перемещения, т.е. смена места работы, появляются лишь через несколько лет после смерти Сталина; отсутствие выезда за границу и въезда в страну, полукрепостной характер жизни основной массы населения, не имеющего собственных ресурсов для свободы маневра).

Вопреки распространенным представлениям, я не считаю идеологию (национал-социалистическую, фашистскую или коммунистическую в ее ортодоксально-марксистской или миссионерско-революционной, или даже великодержавной, советско-имперской версиях, а также все разновидности госсocialизма в странах бывшего соцлагеря) принципиальным признаком тоталитарных режимов. Об аморфности и доктринальной неопределенности собственно фашистского учения писали все комментаторы и историки итальянского фашизма. В меньшей степени это относится к национал-социализму, но и здесь едва ли можно говорить о систематически развитом вероучении или идейной концепции. Роль собственно "коммунистической" идеологии в поддержании советской системы была советологами чрезвычайно преувеличена. Тоталитарная идеология крайне важна в период, предшествующий установлению тоталитарного режима, когда она становится консолидирующим и сплачивающим началом для возникающей радикальной партии, смысловым и символическим ресурсом для рационализации ею антиправовой и антигосударственной тактики захвата власти. Но уже при переходе к следующей фазе, когда встает задача необходимости легитимации завоеванной власти, наиболее значительные идеологические постулаты отодвигаются на второй план, "берутся в скобки" или нейтрализуются. На первый же план выходят традиционные массовые представления или прагматические соображения и резоны актуальной политики удержания власти. Массовая поддержка обеспечивается возвратом к рутинным легендам власти, повиновение — сочетанием террора и конформизма. В советское время такой перелом произошел, вероятно, примерно в конце 20-х — начале 30-х годов, когда тоталитарная институциональная система заканчивала свое технологическое формирование.

Коммунистический мессианский революционизм был подавлен фактически к концу 20-х годов, самое позднее — к началу 30-х годов, его постепенно замещала имперская идеология, сталинский патриотизм. То, что можно назвать "реальным социализмом", представляет собой такой же искусственный конструкт, как и другие идеологические образования или понятия. Здесь важно выделить три момента: а) социально неравномерный характер распределения идеологии в массе населения, репрезентации идеологических норм и представлений; б) непрерывное изменение самого состава идеологических догм и представлений, содержания или акцентов идеологической системы; в) действие защитных или контрмобилизационных, контридеологических механизмов.

Общество никогда не было в состоянии идеологического монолита и не могло быть. В таком понимании "морально-политического единства партии и народа" смешиваются разные уровни и разное функциональное значение, разная роль идеологических составляющих. Конечно, советский марксизм в том виде, как он изложен в учебниках для вузов, а тем более, в схоластических трудах профес-

сиональных философов и преподавателей философии, представляет собой мертвую систему логически относительно упорядоченных построений, опирающихся на труды основоположников и постановления ЦК компартии. Но потребность в этой проработке и связности никогда не выходила за пределы среды интеллектуальной obsługi режима (корпуса преподавателей и пропагандистов, отсутствуя даже в других подразделениях социальной элиты — среди кадров СМИ, редакторов и цензоров, политруков в армии и пр.). Идеология образовывала лишь самую общую основу интеграции "средних эшелонов" **партии—государства**, своего рода материал для шлифовки лояльности будущих кадров. То был ресурс (рационалистического) обоснования прагматических политических интересов руководства, имеющих другую, не идеологическую природу — имперскую, если речь шла о внешней политике, борьбе за власть, если дело касалось внутренних событий. Идеология представляла собой потенциал возможной упорядоченности, однако это был такой ресурс, который никогда не был востребован, исключая лишь кампании, когда требовались заготовки для разгрома очередной "банды" идеологических врагов или тех, кто был назначен на эту роль. Даже у студентов, независимо от профиля обучения, вынужденных в силу подневольности своего положения "проходить" в довольно значительном объеме курсы научного коммунизма, марксистско-ленинской философии, истории партии, политической экономии, научный атеизм и пр., от всей этой дрессуры и зубрежки оставался лишь набор разрозненных постулатов и суждений, которые с течением времени забывались. В массовом сознании (я не говорю о профессионально-корпоративном мышлении обществоведов и экономистов) оставалось лишь несколько "выжимок", сухих остатков таких положений, которые в принципе не имели с коммунистической идеологией ничего общего: это — массовое сознание национальной исключительности, туманные представления о том, что у нас лучше, чем в других странах (тускнеющее и размывающееся к концу брежневской эпохи пролетарско-классовое понимание социальной реальности); это — сознание победителей, героев, символически закрепленное победой СССР в войне; ксенофобия, противопоставление своего чужому, страх перед войной как потенциал мобилизации и горизонт оценки общественных событий; патерналистское отношение к власти; "советский оптимизм" — неопределенные надежды на то, что когда-нибудь будет лучше, чем сегодня или в недавнем прошлом.

Существенную роль, если оценивать ретроспективно, сыграли процессы демобилизации — политика "мирного сосуществования" двух систем при Н.Хрущеве и детанта при Л.Брежнев, негативная реакция — вначале только в среде столичных интеллектуалов, но со временем и в более широких кругах — на вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 г., но еще большее значение в этом плане имела война и поражение в Афганистане. Вместе с ростом уровня жизни и формированием потребительской культуры росло и диффузное неодобрение военной и экономической помощи просоветским "революционным силам" в третьем мире, размывание военной угрозы со стороны Запада, НАТО и т.п. Массовое желание покоя вызывало неодобрение любого применения военной силы на территории СССР (здесь и "тбилисский синдром", не теряющий своего значения на фоне всего последующего кровопролития и жестокости в Баку, Вильнюсе, Риге, в первой чеченской войне и пр.). Это обстоятельство, конечно, не лишает смысла и значимости периодические и острые вспышки антизападничества, предшествующие консервативной консолидации внутри страны, как это было весной 1999 г. после НАТОвских бомбардировок Югославии или негативной мобилизации в начале второй чеченской войны.

Именно этот остаточный набор представлений закреплялся и в школе, и в СМИ, и в армии, через которую проходила почти треть населения. Чем более систематическим был корпус идеологических постулатов, тем скорее он подвергался формализации, выхолащивался, превращаясь в необходимое условие карьерного продвижения или демонстрации пассивной лояльности. Кроме того, на протяжении даже последних 30–40 лет существования СССР, если брать интересующие нас в первую очередь фазы распада, заметно менялось содержание самих важнейших идеологических моментов, менялся легитимационный базис системы. Русский национализм окончательно вытеснил остатки марксистской историософии и пролетарского интернационализма уже в конце 40-х годов. При распаде СССР никого не волновали подобные лозунги, но националистические стереотипы и верования остаются вполне живыми и не только у зюгановских "коммунистов". Никогда не прекращавшаяся после смерти Сталина внутрипартийная борьба различных клик и группировок в высшем советском руководстве мотивировалась самыми различными конфигурациями интересов (отраслевых, региональных, земляческих и пр.), но после 20-х годов никогда — идеологическими соображениями и взглядами.

Поэтому правильнее было бы говорить о непрерывном идеологическом процессе легитимации структур власти и социального порядка, о пропаганде, а не о какой-то одной, определенной и единой идеологии. Механизмы репродукции хронической мобилизации совсем не обязательно должны иметь преимущественно идеологический характер, более того, как раз они-то и не должны быть партийно-идеологическими, а напротив, апеллировать к гораздо более архаичным и всеобщим значениям целого, резидуальным, обрывочным символам прошлого коллективного единства и превосходства.

Ригористичность идеологических лозунгов и деклараций, сочетающаяся с повседневным принуждением, ставшим в позднесоветские времена для основной массы населения почти естественным, незаметным, как атмосферное давление и его колебания, компенсировалась повседневным двоемыслием (обыденным знанием каждого нормального члена общества, как, когда, где и при ком следует так или иначе себя вести и говорить). Речь идет не просто о социальном этикете, а о чувстве такта в репрессивной среде, определяющем условия выживания, безопасности, накопления **навыков**, мотивированных страхом, вызванным доносительством и санкциями соответствующих инстанций, а также о коллективном опыте **заложничества**. Диапазон допустимого поведения определялся соответствующим уровнем меры возможного, обусловленного "параметрами" и "условиями" взаимного негласного соглашения между властями любого уровня и "обществом", населением относительно пределов приемлемого принуждения, прежде всего интенсивности работы, понимания характера различных видов собственности.

Все это, разумеется, предмет дальнейшего **изучения**, возможного в рамках исследования тех факторов, которые вызывают разложение тоталитарных режимов, особенно в восточноевропейских странах. Эти задачи сегодня скорее только обозначены в рамках теории тоталитаризма, чем решены, но и это уже серьезный сдвиг после многих лет затишья*.

* *Mäcköw J.* Der Totalitarismus-Ansatz und der Zusammenbruch der Sowjetsozialismus // Osteuropa. 1994. 44. Jg. N 4. S. 320-329; *Marquard B.* Der Totalitarismus — ein gescheitertes Herrschaftssystem. Eine Analyse der Sowjetunion und anderer Staaten Ost- und Mitteleuropa. Bochum, 1991. VIII. 507 s; *Meuschel S.* Totalitarismustheorie und moderne Diktaturen. Versuche einer Annäherung // Totalitarismus / Hrg. von K.-D.Henke Dresden, 1999. S. 61-78.

Тоталитарные системы не могут воспроизводиться длительное время. Есть несколько функциональных обстоятельств, которые усиливают внутрисистемные напряжения: 1) императивы отдельных функциональных групп и институтов, давление формально-технической рациональности, необходимости развития этих институтов, которые не могут быть полностью остановлены, ибо подчиняются внешним импульсам и силам (наука, производство, особенно военное, образование, культурные группы, обеспечивающие массовую лояльность и поддержку); 2) интересы самосохранения и материального обеспечения бюрократических клик, помимо воли вынужденных ограничивать вначале периодически, затем со все большей продолжительностью кампании террора и чисток, ограничивать террор и репрессии отдельными группами населения или в сфере управления, что немедленно порождает тенденции децентрализации (в условиях империи ведет к появлению идеологических групп и этнонациональных или региональных элит); 3) растущая разбалансированность милитаризированной и плановой экономики; действие повседневных материальных интересов населения, давление дефицитарного общества, ведущее к постоянной демобилизации; развитие неформальных сетей отношений и теневой экономики, превращающейся в ресурс выживания и даже некоторого развития общества и населения, но одновременно создающий условия для последующей криминализации государства.

Посттоталитарная, постсоветская Россия. Цель принятой в статье ревизии понятий "тоталитаризм", "тоталитарный режим" или "тоталитарная система" — получить более или менее ясную конструкцию институциональной системы и ее последствий, т.е. специфических массовых механизмов идентичности, социальных образований, сетей взаимодействия и т.п. Они воспроизводятся в современном российском обществе, накладывая свой отпечаток на политику, экономические процессы и пр. Прежде всего это нужно для того, чтобы восстановить некоторую рамку понимания происходящего, сегодня стершаяся за разговорами о новой, "демократической" России, ее рождении (а отсюда после быстрого перехода к великой России, к возвращению прежней роли мировой державы, укреплению государства и т.п.). Только такого рода реконструкции и могут позволить видеть в как бы психологических состояниях, направленности общественного мнения, в его ситуативных реакциях резидуальные, осадочные структуры тоталитарной социализации, навыки и привычные регуляторы сознания и мышления, заданные тоталитарными институтами. Сегодня они не так видны, проявляются не обязательно впрямую, чаще всего через негативные последствия — блокировку формирования других структур или мотивов действия, неспособность к образованию гражданского общества и представительских институтов. Дальнейшая работа заключается в том, чтобы определить, что в поле общественного мнения, в характеристиках советского человека обусловлено собственно тоталитарными институтами (соответственно, что должно немедленно исчезнуть с их крахом), а что причинено латентными социальными структурами и образованиями, возникшими в результате адаптации к условиям существования при данных институтах, при тоталитарном режиме и что сохраняется в психологическом складе нации, в ее культуре, приобретает самоценный и самостоятельный характер, воспроизводясь в системе ориентации, воспитании, в повседневности.

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно даже очертить весь этот круг проблемных задач исследования, но главное, с нашей точки зрения, можно наметить.

Итак, с чем мы имеем дело сегодня? После распада СССР и последовавшего (после путча ГКЧП) запрета

КПСС был упразднен сам принцип номенклатуры, монополии единой партии. Но руководящие кадры из второго и третьего рядов номенклатуры не просто сохранились, а именно они составляют абсолютное большинство в руководстве страны и кадровый резерв бюрократии. Никакой другой группы, слоя, типа людей не появилось. Однако крах системы поддерживающих друг друга и взаимосвязанных институтов не означает, как уже неоднократно говорилось в статьях "Мониторинга", ликвидации самих институтов, в значительной своей части не изменившихся по структуре и функциям. Так, ликвидация КГБ СССР, конечно, резко сократила объем полномочий тотального института тайной полиции (у него чисто организационно отобраны функции пограничной службы, произведено разделение на внутреннюю и внешнюю разведки, нет уже той полноты репрессивных полномочий для выполнения задач цензуры, дезинформации, репрессий против "девиантов" и инакомыслящих). Но сам институт вышел из кризиса вполне сохранившимся, как показывают участвовавшие шпионские процессы, система характерных провокаций и влияние на кадровый подбор в высших структурах власти. Реформы в армии еще не начинались. По своим структуре и функциям суд, милиция, прокуратура и другие "органы охраны общественного порядка", по существу, остались прежними, их дух и буква — подавление гражданского общества, защита интересов государственной бюрократии разных уровней. Нет плановой экономики в прежнем объеме, но распределительная экономика в значительной степени еще сохраняется через бюджет и контроль за директивными ценами на продукцию ведущих монополий, через отраслевые и региональные дотации и субсидии, "консервацию" жилищно-коммунального хозяйства и прочее, а следовательно, сохраняется проблема "коррупции" и популистская демагогия борьбы с ней. Неравноправие на рынке экономических субъектов (отсутствие единых правил поведения на рынке) отражает заинтересованность госбюрократии разных уровней в воспроизводстве нынешнего положения вещей, что, в свою очередь, оборачивается сохранением и упорной защитой чисто фискальной, прессинговой политикой государства в экономике, плоским меркантилизмом и защитой привилегированных производителей от конкуренции, поддержанием населения на привычном уровне бедности. Можно указать лишь на два факта, лучше других свидетельствующие о неизменной репрессивности институциональной системы: 1) отток из страны капиталов, представляющий собой суммарное недоверие действующих экономических субъектов к государству как таковому, хранение накоплений у тех, у кого они имеются, в валюте, а не в рублях; постоянный разрыв в представлениях о "нормальной" оплате труда и фактическом заработке (разрыв между ними достигает 2-2,5-кратных величин) и некоторые другие данные такого же, обобщенного выражения; 2) столь же хроническое недоверие и постоянно низкие оценки деятельности важнейших государственных институтов, прежде всего властных структур (кроме второго президента РФ): правительства, парламента, суда, милиции, политических партий, а также бывших ранее номинально общественными профсоюзом и др.

После некоторого периода растерянности и дезориентации, выразившегося в "свободе СМИ" при сохранении государственной собственности на них, затем частичной приватизации и последующего перераспределения объемов контроля за ними, СМИ резко децентрализовались, но не стали независимыми, т.е. рыночными, ориентирующимися главным образом на потребителя и его интересы, а оказались подконтрольными региональным властям (местные СМИ) или федеральной администрации (центральные

СМИ), т.е. нацеленными на задачи агитации и поддержки соответствующего начальства.

Иначе говоря, *система* институтов явно разрушилась, но остались, с одной стороны, целостными ее звенья, отдельные социальные институты, о которых уже говорилось, а с другой — гораздо более важные и значимые вещи: а) последствия жизни в тоталитарных обществах уже после них самих, после их краха, то, что может быть названо инерцией, привычками, обычаями, автоматическими навыками реагирования на определенные ситуации. Это не какие-то простейшие реакции, рефлексы, а очень сложные и противоречивые по своему символическому или ценностно-нормативному составу интернализированные конфигурации регуляторов поведения, идентичностей, мотивов, интересов, адаптивных механизмов*; б) социальные латентные образования, воспроизводящиеся в поле межинституционального пространства. Таких форм огромное множество, но они плохо описаны в социологической литературе. Назову лишь две, принципиально разные по своему характеру: блат (дефицитарные структуры) и коллективное заложничество. Если системы первого типа обеспечивают межинституциональные связи, то структуры второго типа — **внутриинституциональные** или даже **внутриорганизационные**. И те и другие типы связей пронизывают все структуры любого уровня и функционального назначения, включая, разумеется, и сами властные или репрессивные институты.

Блат, неформальная экономика и т.п. относительно более изучены, хотя и это состояние приходится признавать совершенно **недостаточным****.

Более интересно для нас (в данном случае) именно коллективное заложничество, круговая порука, коллективное регулирование и групповая ответственность за поведение отдельного индивида — члена группы. Правила поведения в таких структурах соединяют в себе нормы и представления социальных образований разных уровней и типов — институтов, формальных и неформальных групп, обладающих очень часто (почти всегда) разнонаправленными или противоречащими друг другу императивами и требованиями. Типичным примером может служить устойчивость колхозов, за 70 лет превратившихся из чисто принудительных образований в сложнейшие симбиозы, обеспечивающие существование деревни на крайне низком, но достаточном для выживания уровне. Продуктивность ЛПХ (известно, что 70-80% картофеля, 60-70% овощей, около 50% молочной и мясной продукции и прочее производится на площадях, составляющих 2% обрабатываемых сельскохозяйственных угодий) обеспечивается сложнейшим сочетанием минимальной зарплаты в колхозе, совершенна недостаточной для жизни, с воровством семян, комбикормов, электроэнергии, незаконным использованием техники для собственных нужд при обработке приусадебного участка и т.п. Руководство колхозов вынуждено было на это всегда закрывать глаза, ибо это был порядок, поддерживаемый обеими сторонами. Низкая производительность и интенсивность труда, дотации и субсидии со стороны, списывание долгов хозяйства сочетаются с поддержкой руководства и упорным сопротивлением любым переменам, в том числе выходу из колхозов и получению индивидуального пая или установлению частной собственности на землю. Ряд экономистов расценивает продуктивность ЛПХ как зачаток новых, почти капиталистических отношений, хотя для

* См. опубликованные статьи Б.Дубина и Ю.Левады на эту тему: Экономические и социальные перемены... 1996. № 1; Мониторинг общественного мнения... 1999. № 6; и др.

** См.: Тимофеев Л., Кляжкин И. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. М.: РГГУ, 2000; Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999.

таких суждений, на наш взгляд, нет никаких оснований: их "эффективность" видна только на фоне всех других, еще более уродливых экономических форм. Сложившийся порядок настолько устойчив, что он фактически вытеснил вновь введенные рыночные формы сельского производства (фермерство, эффективное товаропроизводство и пр.).

Дело не в колхозе. "Колхозные отношения" можно встретить в среде работников самых высокотехнологических заводов или в академических институтах. Важно, что в социально-экономическом плане такие формы социальной организации и контроля ведут к систематическому понижению запросов, что в целом может рассматриваться как типовые способы адаптации индивида или групп к изменениям, как понижающая социальная реакция на напряжения любого рода*. Однако было бы ошибкой называть заложничество, принудительное единство и самоконтроль "солидарностью", коллективизмом, чем-то, пусть и в извращенном виде, но напоминающим структуры гражданского общества. Эти образования имеют прямо противоположный характер, поскольку держатся на других ценностях и нормах, других антропологических основаниях. В социальном (тем более в политическом) смысле такие формы организации означают подавление позитивных форм солидарности, т.е. представляют собой процессы относительной примитивизации структур гражданского общества, социальную атомизацию общества. Но это и не механическое соединение "сверху" **а-социальных** индивидов, хотя их идентичность имеет совершенно отчетливый негативный характер. Подобные соединения являются по-своему эффективными формами снижения или канализации репрессивного или нетерпимого воздействия начальства (через обход или плохое исполнение распоряжений, низкую интенсивность труда или качество исполнения, упреждающую агрессию в отношении партнеров и пр.). Коллективное заложничество — это и есть "социальный порядок", способ регулирования давления извне, который поддерживается всеми участниками взаимодействия независимо от их институционального статуса и социальной роли. Иначе говоря, социальный порядок в посттоталитарных обществах складывается как система адаптивных (промежуточных) структур и образований для демпфирования тоталитарного давления и, напротив, защиты подданных ценой понижения социального и культурного потенциала (деидеализации культуры, роста негативных и рессантиментных идентичностей, представления о всеобщей коррумпированности и мафиозности, бандитизма, шкурности и "жлобства"), подавления дифференциации и разнообразия, взаимовыгодных отношений, что, в свою очередь, вызывает массовые настроения дезориентированное™, зависти, мести, требования ужесточить контроль (в бизнесе, в СМИ, в культуре). В этом плане невозможность эффективной экономики, политики и прочих процессов институциональной рационализации связана именно с подавлением (чаще частичным или строго ситуативным) определенных норм формальных институтов, не обеспечивающих оптимизацию заданных ими структур действия.

Главным же последствием тоталитарных режимов (в социологическом плане) следует, видимо, считать расшатание и укрепление разнообразных видов неформальных, аморфных или пластичных комплексов отношений и связей адаптивного характера и функций, значения которых принципиально не могут быть артикулируемыми и кодифицируемыми в институциональном языке. Это означает появление

* Ср.: "...Содержанием процесса приспособления к дефициту всегда и неизбежно будет снижение общего уровня спроса против первоначального..." "...Все получили в конце концов меньше, чем искали. И это нормально для социализма" (Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М., 2001. С. 154, 155).

огромного пласта социального существования, не просто не подлежащего институциональной оптимизации и рационализации, но составляющего аналог традиционной или устной культуре со всеми характерными свойствами (передачей от лица к лицу, целостным образом, без анализа или критической дистанции и т.п.), но только это будет искусственная или новая (апофатическая) квазитрадиционность. Ее особенность будет заключаться в том, что она снимает разрывы между высокоразвитыми и институционализированными сферами (современными технологиями, наукой, урбанизмом, коммуникативными системами и пр.) и бедностью или даже примитивностью позитивных значений человека, его ценностями. Само наличие такого пласта значений, представлений и соответствующих регуляторов поведения предполагает отсутствие элиты в смысле авторитетной группы, источника инноваций или поддержания образца, вязкости общественного сознания и ритуализма общественной жизни, наличие довольно примитивных способов поддержания целостности — через постоянную выработку фигур "врагов" (чеченских бандитов и террористов, НАТО, турецких спецслужб, олигархов, финансово-политических кругов Запада, продажных демократов и пр.) и периодической потребности в "вождях", очередном лидере страны, выполняющем прежде всего репрезентативно-символические функции — быть персонификацией проективных массовых представлений о целом, т.е. о приукрашенных самих себе. Это не авторитаризм или, если угодно, мнимый, суррогатный авторитаризм, режим, который лишь подражает тоталитарным типам организации, поскольку не знает других образцов, кроме них. Своеобразие нынешней ситуации распада прежней тоталитарной системы институтов, интенсивной децентрализации источников и ресурсов власти, вызванной умножением групп влияния и включением их в открытую конкуренцию за власть, заключается в том, что апатичное, парализованное общество не в состоянии оказывать какое бы то ни было воздействие на выработку общих законных правил игры, систему репрезентации групповых интересов. Децентрализация не сопровождается появлением институтов и механизмов представительства общества в целом или его отдельных частей. При "отключении" общества от политического процесса (участия, влияния на принятие важнейших решений, выдвижения других лидеров, кроме тех, которые уже входили или входят в состав номенклатуры) невозможно оптимизировать ни порядок принятия решений, ни изменить сами институциональные структуры. В этих условиях — децентрализации институтов, эрозии и распада систем государственного контроля, выхода наружу полуформального, теневого "общества" — согласование интересов и действий этих образований, группировок и клик возможно только через конвенциональную фигуру псевдоавторитарного лидера, который сам не принимает решения, не обладая реальной властью, но становится медиумом, площадкой согласования групповых, номенклатурных и кликовых интересов. Это не пантократор, и не автократор, а посредник. Конечно, он может действовать в таком качестве только при условии массовой поддержки, восприятия его в обществе в качестве персонификации массовых ожиданий и иллюзий, оформляемых в категориях патерналистской риторики. Этот эффект обеспечивают зависимые от власти СМИ, инерция прежних институтов, пропаганда и т.п. Но реальной властью он не обладает, никакой политической программы трансформации общества, социально-политического курса он предложить не в состоянии. Это вывеска, ярлык, условие легализации теневых структур и групп влияния, механизм их санкционирования и достижения между ними возможностей компромиссов. Шансы на то, что эта система отношений постепенно разовьется в пред-

ставительскую, довольно туманную и незначительную. Скорее можно говорить о том, что благодаря этому вся система имеет возможность консервации на неопределенное время.

В отличие от собственно тоталитарных структур этот вид псевдоавторитаризма не в состоянии ни воспроизвести прежнюю технологию господства, предполагающую террор и массовую мобилизацию, ни выдвинуть привлекательные для массы цели и лозунги. Его задачи и возможности — постараться удержать социальную систему от распада ценой неизбежной примитивизации и потери возможностей для развития. Собственно, его можно было бы назвать режимом инерционного или консервативного воспроизводства системы. Однако любые усилия такого рода оказались бы абсолютно нерезультативными, если бы не существовало характерного массового человека, сформированного тоталитарной системой, адаптирующегося к изменениям ценой постоянного, относительного снижения запросов и критериев качества собственной жизни. Именно он представляет собой важнейшее условие сохранения общества описанного типа.

Хельмут ШТАЙНЕР

Формирование социальных структур в современной России

Процессы, протекающие в России в последние 15 лет, характеризуют развитие капитализма "по-русски", и сегодня никем в мире это не оспаривается — ни в научных, ни в политических кругах. В самой России растет число публикаций, в которых капитал, капиталисты и капитализм в России называются своими именами. До 1998 г. в работах, анализирующих процессы в современной России, доминировали теоретические постановки проблем "гражданского общества" (тема, ставшая исключительно модной), рыночной экономики "с социальным лицом", поиска "русской идеи", что бы ни понималось под этими понятиями или лозунгами. Вышедшая в 1998 г. книга Р.Медведева "Капитализм в России?" в названии еще содержит знак вопроса, но в последние два-три года ситуация изменилась. Возникающие сегодня вопросы относятся уже не к тому, действительно ли речь в России идет о капитализме, а скорее к тому, какой именно тип капитализма здесь складывается, на какой стадии развития и оформленности он находится? Как вписываются общественно-политические, экономические и культурные переломы, срывы и прочие потрясения последнего десятилетия в концепцию капиталистической трансформации и развития России? Другими словами, хотя распространяемые в средствах массовой информации факты и публицистические материалы о повседневной жизни, о скандалах и ужасах современной жизни России и могут вызывать моральное негодование, страхи и непонимание, но на самом деле речь идет о необходимости социально-научного, теоретического анализа происходящего!

То, что в Восточной Германии было просто "привнесено извне" путем "переноса институтов", "инкорпорировано", "колониализировано" и т.п. в качестве капиталистического экономического и общественного устройства, в России осуществляется как крайне конфликтный, разворачивающийся "изнутри" процесс преобразования. И из-за особенностей его истории, масштабов, внутреннего многообразия, а также интересов (как собственных "международных интересов", так и интересов других государств), этот